

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Уральского отделения
Российской академии наук

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 18

Выпуск 2

Екатеринбург – 2018

Главный редактор

Виктор РУДЕНКО, директор Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф.

Заместители главного редактора

Философия, политическая наука: **Виктор МАРТЬЯНОВ**, заместитель директора по научной работе Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. полит. наук, доц.

Право: **Валентина ЭМИХ**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук

Международный редакционный совет

Алексей АВТОНОМОВ, директор Центра сравнительного права НИУ – Высшая школа экономики (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Хоакин Х. АЛАРКОН**, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Ольга МАЛИНОВА**, проф. МГИМО-Университета, (Москва, Россия) д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Юрий ПИВОВАРОВ**, научный руководитель ИНИОН РАН (Москва, Россия), академик РАН, д-р полит. наук, проф.; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Армандо СЕРОЛО ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания) д-р права, д-р полит. наук; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

Редакционная коллегия

Философия: **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, зав. кафедрой философии и политологии Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук.

Политическая наука: **Петр ПАНОВ**, главный научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.

Право: **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, профессор Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Павел КРАШЕНИННИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д. юрид. н., проф.; **Наталья ФИЛИППОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), «КиберЛенинку», базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI), а также входит в международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS.

Учредитель

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Издается с 1999 г. Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России». Т. 1. «Газеты и журналы» 43669. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ФС77-29547 от 14 сентября 2007 г.

ISSN 1818-0566 (Print); ISSN 2312-5128 (Online)

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>

**INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

**RESEARCH YEARBOOK
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

Volume 18

Issue 2

Ekaterinburg 2018

Editor-in-chief

Viktor RUDENKO – Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Deputy Editor-in-chief

Viktor MARTYANOV – Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Valentina EMIKH – Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

International Editorial Council

Alexei AVTONOMOV – Center for Comparative Law, Higher School of Economics
(Moscow, Russia);

Joaquin H. ALARCON – University of Murcia (Murcia, Spain);

Alexander KOKOTOV – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg,
Russia);

Vladislav LEKTORSKY – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia);

Olga MALINOVA – MGIMO University (Moscow, Russia);

Mikhail MALYSHEV – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico);

Yuri PIVOVAROV – Institute of Scientific Information on Social Sciences, the Russian
Academy of Sciences (Moscow, Russia);

Thomas REMINGTON – Emory University (Atlanta, USA);

Cameron ROSS – University of Dundee (Dundee, UK);

Richard SAKWA – University of Kent (Kent, UK);

Saskia SASSEN – Columbia University (New York, USA);

Carole SIGMAN – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center
for Scientific Research (Paris, France);

Armando ZEROLO DURAN – University of San Pablo (San Pablo, Spain).

Editorial Board

Vladimir DIYEV – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University
(Novosibirsk, Russia);

Yuri ERSHOV – Ural Institute of Management – Branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration
(Ekaterinburg, Russia);

Elena STEPANOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Elena TRUBINA – Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia).

Petr PANOV – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(Perm, Russia);

Olga POPOVA – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);

Sergey POCELUEV – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia);

Olga RUSAKOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy
of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Oleg ZAZNAEV – Kazan Federal University (Kazan, Russia);

Mikhail KAZANTSEV – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Sergey KODAN – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia);

Pavel KRASHENINNIKOV – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation
(Moscow, Russia);

Natalia FILIPPOVA – Surgut State University (Surgut, Russia).

The journal is recommended by the Russian Ministry of Education and Science for publication of scientific results of doctorate theses. It is indexed and referenced in RSCI, Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS; it is included to the RSCI database on the Web of Science platform.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ФИЛОСОФИЯ

<i>Оболкина С.В.</i> Философский анализ проблемы маргинальности	7
<i>Степанова Е.А.</i> Религия и мораль: парадоксы взаимозависимости	21
<i>Яркова Е.Н.</i> Медиация и нравственная культура общества	40

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

<i>Василенко Ю.В.</i> Королевский статут Ф. Мартинеса де ла Росы и становление нового порядка в Испании в первой половине XIX века	55
<i>Володенков С.В.</i> Роль информационно-коммуникационных технологий в современной политике	69

ПРАВО

<i>Аничкин Е.С.</i> Фикции в конституционном праве Российской Федерации: особенности, виды, действие	87
<i>Пантелеев В.Ю.</i> Административная реформа как условие реализации антикоррупционной политики	106

C O N T E N T S

PHILOSOPHY

- S. Obolkina.** Philosophical analysis of marginality problem7
E. Stepanova. Religion and morality: paradoxes of interdependence21
E. Yarkova. Mediation and moral culture of society.....40

POLITICAL SCIENCE

- Yu. Vasilenko.** Royal statute of F. Martinez de la Rosa
and formation of new order in Spain
in the first half of the XIX century.....55
S. Volodenkov. The role of information and communication technologies
in contemporary politics69

LAW

- E. Anichkin.** Fictions in the constitutional law
of the Russian Federation: peculiarities, types, action87
V. Pantelev. Administrative reform as prerequisite for implementation
of anticorruption measures106

ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY



Оболкина С.В. Философский анализ проблемы маргинальности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 7–20.

УДК 172.1

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.720

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ

Светлана Викторовна Оболкина

кандидат философских наук, старший научный сотрудник

сектора истории и философии науки

Центра подготовки кадров высшей квалификации

Института философии и права УрО РАН,

г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: obol2007@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6644-104X

Материал поступил в редколлегию 10.10.2017 г.

В статье анализируются представления о маргинальности, как они существуют в социопсихологическом и культурологическом измерении. На сегодняшний день в нем обозначились две противоположные эпистемологические тенденции: согласно одной из них маргинальность оценивается преимущественно позитивно, в качестве синонима понятию творческого обновления. В рамках другой тенденции акцентируется разрушительная роль маргинальности для самого человека и социума. Складываются эти тенденции в первую очередь благодаря не совсем корректному сближению смыслов: «лиминал» и «маргинал», с одной стороны, «люмпен» и «маргинал» – с другой. Объем понятия «маргинал» настолько велик и так часто включает противоположные по социальной функции явления, что это заставляет многих исследователей сомневаться в его научной значимости. В работе ставится задача философской рефлексии тех когнитивных установок, которыми образуется

современное понимание маргинальности. Целью является поиск смысловой константы в одинаково важных, но противоположных семантических векторах этого понятия. В качестве ключевого концепта метаязыка в отношении темы маргинальности принимается категория прегнантности понятия, благодаря которой можно говорить о специфике сближаемых смыслов и рассмотреть онтологические предпосылки, лежащие в основе их отождествления. Далее анализируется современное понимание социальной маргинальности в контексте исходного смысла: маргиналии как записи на полях. Это помогает переосмыслить фундаментальную метафору, выступающую в качестве когнитивных направляющих процесса исследования маргинальности. Автор рассматривает ее в контексте теории социальных полей П. Бурдьё, а также философии Другого. Представление о мифологеме «свой/чужой» и формуле «*homo sacer*» в решении вопроса о семантической константе маргинальности позволяет предположить, что маргинальность связана с категорией социальной нормы, причем сама норма апофатически определяется благодаря феномену маргинальности.

Ключевые слова: маргинал, маргинальность, лиминальность, люмпен, докса, социальная норма.

Тема маргинальности – одна из самых востребованных и разработанных в различных сферах науки. В экспозиции проблемы основной тон задан чикагской школой социологии, и в первую очередь, исследованиями Р.Э. Парка. Понятийная нагрузка слова создается коннотациями смысла «находиться на краю» (от лат. *margo* – край, граница). У Парка речь идет о еврее за пределами средневековых гетто, который «и исторически, и типически был и остается маргинальным человеком» (Парк 1998: 174), о мулате в США, прозелите в Азии. Исследователь показывает, что пребывание на границе двух культур формирует особый психотип, для которого характерен ряд черт: беспокойство, повышенная чувствительность, эгоцентризм. Парк отмечает, что этот психотип благодаря свойственной ему активности оказывается источником социальной мобильности. Представитель социальной психологии Т. Шибутани развивает эту мысль: «В любой культуре наибольшие достижения осуществляются обычно во время быстрых социальных изменений и многие из великих вкладов были сделаны маргинальными людьми» (Шибутани 1999: 495-496). «Реальность, к которой люди постоянно приспосабливаются, состоит из конвенциональных значений – согласованных способов подхода к различным категориям объектов» (Шибутани 1999: 502), и для маргинала (как почти чужака) подобное согласие проблематично. А значит, с высокой долей вероятности возникает сомнение в единственно возможном положении дел. Здесь могут иметь место и негативные следствия, подчеркивает исследователь: маргинал может прийти к «отчуждению от самого себя» (Шибутани 1999: 495), что чревато неврозами и психозами.

Анализ негативных моментов психотипа маргинала получает некоторое преобладание в исследованиях Стоунквиста (Стоунквист 1979). Он подчеркивает: маргинал – это не тот, кто просто находится в состоянии социокультурного конфликта, но тот, кто его *сознательно переживает*. Данное уточнение направило внимание исследователей на особый тип маргинала:

человека, который находится в пределах своей этнокультурной среды, но тем не менее сознательно выбирает позицию на «краю».

Таким образом, тема маргинала как определенного социального и психологического типа получила широкое развитие – вплоть до появления маргиналистики в качестве междисциплинарной области (Атоян 1993). При этом аксиологическая двойственность в отношении феномена маргинала не только сохраняется, но становится эпистемологической спецификой: на сегодняшний день сосуществуют два подхода к маргинальности, которые можно обозначить как позитивный и негативный. Если на начальных этапах более значимой была «позитивная» тенденция, то позднее активнее проявилась противоположная: понятие «маргинал» начало сливаться в неразличимое с «люмпеном», «девиантом» и т.п., причем именно в смысле их а(анти)социальности. В первую очередь это характерно для исследований юридического характера: «Маргинальность проявляется в сознательно-волевой деятельности человека и имеет либо юридически нейтральный, реже – позитивный характер, но преимущественно манифестируется негативно» (Степаненко 2012b: 34-35). Это «неспособность индивидов адаптироваться к нормативно-ценностной системе, предрасположенность к совершению правонарушений, в том числе преступлений» (Степаненко 2012a: 61). Нельзя отбрасывать как несущественную для научного исследования и повседневную интерпретацию маргинальности: «В повседневной речи слово практически сразу получило негативный смысл. “Маргинальность” стали отождествлять с а(нти)социальностью, люмпенизацией, перевернутой системой ценностей» (Балла).

Кратко очертив историю развития понятия «маргинал», – историю, в которой проявились две противоположные тенденции смыслообразования, – обозначим цель данной работы: найти семантическую константу понятия «маргинальность». Почему это важно? Потому что при всей работанности темы мы можем указать пальцем на маргинала, однако не зная точно, почему мы это можем сделать. Для обыденного знания хватает чего-то вроде «длинного пальто»¹, но для научного дискурса все чаще высказываются пожелания «отменить» данное понятие, поскольку область эмпирически верифицируемых конструктов, которые обозначаются понятием «маргинал», постоянно расширяется; суть данного явления ускользает. Какова методологическая специфика этого расширения? Сопоставление нового эмпирического факта с имеющимся набором типов ситуаций, личностей, мотивов, зафиксированным в опыте культуры, в языке, происходит путем абдуктивного заключения (Ионин 2004: 128-129), и это вполне характерно для исследований маргинальности. Но абдукция (по сути, угадывание) не дает знанию ни понятийной строгости, ни теоретического роста. Поэтому на сегодняшний день исследования маргинальности, взятые как целое, воспроизводят довольно знакомый паттерн мифа – истории про дракона: от выделения социального феномена в качестве страдающего начала до анализа его агрессивности; «убивший дракона

¹ Этот эстетический штрих указывает Э. Лимонов, характеризуя маргиналов современности (Лимонов).

становится драконом». Следовательно, нужно снова поднимать проблему маргинала, но именно как эпистемологическую проблему: как знание о своем незнании. Это требует философского исследования, работы в большей степени с мета-, а не объектным языком, а именно со спецификой саморазвития понятия.

В отношении маргинала можно говорить о прегнантности понятия¹, что позволяет осуществляться абдуктивному заключению. Понятия (как и гештальты) могут быть «хорошими формами» в деле понимания, даже если их содержание включает противоположные коннотации. Коннотации притягиваются не в силу когнитивного «беспредела», они заполняют некий смысловой вакуум, и это есть «пустота» искомой нами константы. Какие из интенций смыслообразования выводят на понятийное «ядро», а какие – на «периферию»? Проанализируем прежде всего «позитивную» тенденцию в анализе маргинальности, для которой «маргинал» выступает практически синонимом понятия творческой потенции.

В пределах этого подхода понятие «маргинальный» притягивает дополнительное себе «лиминальный» (от лат. *limen* – порог), зачастую почти сливаясь с ним. Его вводит в научный оборот В. Тэрнер (Тэрнер 1983), опираясь в свою очередь на работы А. ван Геннепа. Лиминальность для Тернера выступает альтернативой структуре как таковой. «Потому-то Тэрнер и призывает внимательно следить за тем, что происходит на окраинах: новое идет оттуда» (Бейлис 1983: 28). «Лиминальный» используется как синоним «маргинальному» благодаря отождествлению смыслов «преодолевающий границы» и «разрушающий пределы», а также благодаря мотивам социального пренебрежения: Тэрнер указывает, что человека в состоянии *лими* часто лишают одежды и имени, обмазывают грязью и считают бесполом. Обновление вкупе с социальным отчуждением, таким образом, выступает «точкой схода» понятий «маргинальность» и «лиминальность». И, соответственно, точкой роста идеи о том, что суть маргинальности – творческий потенциал.

Стоит подчеркнуть, что у Тэрнера речь идет именно о *фазе* процесса социальной динамики. Это стадия некоего предельного освобождения от любых поведенческих норм и правил, что и позволяет осуществляться потенциям перерождения. Тэрнер, анализируя содержательные особенности ритуала, отмечает: «Однако неизбежным образом перемены эфемерны и преходящи (если угодно, “лиминальны”), так как два способа социальных взаимоотношений здесь культурно поляризованы» (Тэрнер 1983: 247). Стадия *лими* заканчивается возвращением к новой относительно стабильной и четко определенной позиции в обществе. Через лиминальную стадию рождается новое в искусстве, философии (это основные примеры «позитивной» тенденции), но это не делает «маргинальность» и «лиминальность»

¹ Прегнантность (от лат. *praegnans* – содержательный, обремененный, богатый) – понятие гештальт-психологии. Это некий конечный перцептивный или интеллектуальный образ, характеризующийся содержательностью и завершенностью; в нем проявляются свойства стабильной фигуры с отчетливо выраженными границами.

синонимами. Кроме того, в борьбе идей далеко не всегда важна оппозиция «центра» и «края»; борьба чаще всего ведется именно в «центре». Оппозиционеры, пользующиеся для трансляции своих идей официальными каналами (медиаресурсами, выставочными залами и публикациями), – вряд ли это маргиналы по преимуществу. Скорее, именно лиминалы (пока/если их идеи не победят). Для осмысления маргинала важнее идеи З. Баумана о таком «чужом», который принципиально не входит в бинарные оппозиции и не выступает при этом неким третьим началом, снимающим или примиряющим их. Этот «чужой», скорее, ставит под сомнение значимость подобного рода оппозиций. Маргинала может «затянуть» в эпицентр чужая борьба, но он не формирует новый облик социального центра, оставаясь при этом маргиналом. Таким образом, области смыслов «маргинальности» и «лиминальности» пересекаются в том и только в том моменте, в котором они говорят о творческих потенциях благодаря утрате общезначимых норм. Но является ли эта область смысловым ядром маргинальности?

Следует обратиться и к коннотациям противоположной эпистемологической тенденции, поскольку оставить без внимания негативные аспекты маргинализации, удерживая в поле зрения лишь ее позитивные коннотации, было бы преступно. И не только потому, что процессы маргинализации действительно разрушительны. Многочисленные исследования в поиске детерминанты процессов маргинализации вновь и вновь говорят о специфической ментальности маргинала. Это закономерно, поскольку именно психологические характеристики выступили в качестве ключевых для открытия маргинала. Выводом в рамках «негативной» тенденции является идея о контроле за людьми по причине их предрасположенности к маргинальности. Но вряд ли только в этих рамках. Если мы согласимся с тем, что сущность маргинальности заключается в потенции обновления, то должны согласиться и с дальнейшим развитием мысли: обновление в значительной мере означает разрушение. Экстремум этой идеи предполагает, что «субъекты указанных (перспективных) отклонений и нарушений – преступники, с точки зрения большинства своих современников, но герои, с точки зрения будущих поколений. В свете этой гипотезы очевидно, что *креативность и криминальность закономерно связаны: психология творчества и психология преступления – родственные явления*» (Лобовиков 2015: 14). За пределами этого философского экстремума, однако, социальные науки (и сама действительность) предлагают множество примеров «чистой» негативности. Означает ли это, что мы должны все-таки свести маргинальность к трудно-скоренимой потребности некоторых индивидуумов уничтожить нормы и ценности своего социума? И, соответственно, должны ли мы признать необходимость превентивных контролирующих мероприятий по отношению к человеку, которому свойственна ментальность маргинала? Мысль сопротивляется такому решению – в первую очередь благодаря исторической памяти. Но исходя из целей философского анализа мы должны найти когнитивное основание для такого сопротивления – или отказаться от него.

Для этого следует выйти за пределы установок, которыми сформировался сам разговор о маргинале, затеянный чикагской школой. Данная

потребность сегодня проявляет себя все активнее. Множатся исследования, в которых анализируется маргинальность философии и литературы, новых научных парадигм и т.д. (Iser 1991; Sanchez; Ратиани; Солонин 2003). Но необходимо не просто экстраполировать результаты анализа социокультурных проявлений маргинальности на другие предметные сферы. В представлениях о маргинальности должны быть проанализированы сами установки, выводящие мысль именно на те ходы мысли, которые предполагает социологическое измерение. Это герменевтико-онтологическая проблема, связанная с концептом герменевтического круга, предмнения и т.п. Интерпретация явления предзадана установками мировидения (именно поэтому герменевтика Х.-Г. Гадамера выводит на онтологию); онтология может быть понята как условия понятности опыта (Оболкина 2017). Определенные условия понятности «сужают» пространство мыслимого (и как понятного, и как допустимого). Следует анализировать само онтологическое предмнение как условия понятности.

Мы рассуждаем о людях «на краю» общества, обращаемся к их ментальным характеристикам и выводим нечто обязательное для маргинала: чувство «неуютности» (его использует Парк). Однако взятое само по себе понятие «неуютность» совсем не обязательно предполагает агрессивность. Мысль о маргинальности все же делает этот дополнительный шаг: к смысловому ядру «края» добавляются мотивы «дна». В пространстве словарей интернет-ресурсов «край» уже и заменен «дном»: «Маргинализация – резкое понижение социального статуса группы или индивида, выталкивание на общественное дно» (Маргинализация...), а «маргинал» становится равнозначным «люмпену». Люмпен – человек «на дне» – вполне готов к преобразению в агрессора, поскольку степень его социальной обделенности в той или иной степени угрожает его биологическим потребностям: ему нужно выжить. Но маргинал – это человек именно «края». «Край» же может быть понят как «дно», только если в нашем предмнении работает наглядный образ, подобный представлению о плоской земле на трех китах: оказаться на краю означает опасность рухнуть в бездну. Почему «быть на краю» в социальном смысле оказывается тождественным угрозе существованию (в неосознанном режиме рассуждения)? Что иное, как не страх общественного животного быть изгнанным из коллектива-стаи в чужое и потому смертельно опасное пространство, может диктовать нам такую картину мира? Это вопрос, выводящий за пределы нашего исследования. Хочется лишь отметить, что не поддаваясь отождествлению с «люмпеном», понятие «маргинал» сопротивляется сведению социального исключительно к биологическому. И в первую очередь потому, что оно вобрало в себя и знание о таком человеке, которого никто не вытеснял на край, который вполне успешен с точки зрения социального статуса, но который выбирает положение «на краю» с точки зрения идейного содержания. Причем это для него настолько важно, что он даже заигрывает с возможностью потерять свой статус, «опуститься на дно», стать люмпеном.

«Маргинал», таким образом, – понятие куда более емкое в отношении интенций смысла, если сравнивать с тем же «люмпеном». Но его проблема

заключается в том, что оно осуществляется амбивалентными интенциями. Если воспользоваться метафорой психологической амбивалентности, это не самая здоровая ситуация, и потому многие исследователи пытаются его «вылечить», отсекая смыслы. Но само напряжение разнонаправленных векторов создает данное понятие как прегнантное. Следует двигаться дальше от эмпирии к понятию, от явлений к самому слову – ведь именно оно притягивает коннотации и именуется эмпирические феномены маргиналами.

Существует еще один смысл корня «марго»: маргиналии – это заметки, комментарии, рисунки на полях книги. Обычно если этот смысл и указывается, то лишь в качестве исторической справки (это опять же инициировано чикагской школой). Х. Вильджоен (Viljoen 1998) делает это «факультативное» значение центральным в своих рассуждениях маргинала, создающего маргиналии по поводу маргинальности – это его собственное определение, в котором видимая тавтологичность концептуальна. Автор обитает «на краю» мира (Южная Африка) – если учитывать постколониальную диспозицию; и он пишет «заметки на полях основного текста» – если таковым считать социологический дискурс маргинальности.

Как показывает Вильджоен, говоря о маргинальности, мы обычно имеем в виду «далекие края самых окраин, внешние, более холодные, более темные области общества»; используем «концепции культуры или общества как четкого демаркационного пространства – пространства с определенными границами, где желательно быть как можно ближе к центру». Но это проблематично, ведь понятие «маргинальность» основано на метафоре написания: «печатная страница буквально не имеет четкого центра» (Viljoen 1998: 10). «Маргинальность, по-видимому, указывает на границу вокруг определенного пространства без центра» (Viljoen 1998: 11-12), отмечает автор и предполагает, что выбор метафоры круга и привилегированности его центра обусловлен повседневным опытом. Однако думается, что столкновение метафор – то есть выбор определенного когнитивного инструментария – основано не столько на повседневном опыте, сколько на особенностях функционирования архетипа «свой / чужой».

«Очевидно, что “своим”, метафизически освоенным пространством являлось пространство (то, что простирается, рождает простор), непосредственно окружающее сакральный Центр Мира того или иного архаического коллектива – тотемный столб, культовое сооружение и т.д. <...> Соответственно, при удалении от этого Центра пространство теряет, “размывает” свои сакральные характеристики, переходя в собственную противоположность – пространство inferнально-античеловеческое» (Верховский 2014: 63). Этот архетип лежит в основе формирования метафоры социального «своего» как окружности-границы с обязательным центром. Мифологема иллюстрирует то онтологическое предмнение, которое чаще всего используется и в анализе маргинальности: по умолчанию предполагается наличие некоего центра-нормы и отклонений (дистанцирования) от него как вектора в сторону границ. Стоит, между тем, вытащить эту понятность «на свет» рефлексии – и мы оказываемся лицом к лицу с проблемой: для явления маргинальности измерение «свой/чужой» обязательно, но «столба-идола»

нет – о чем говорит и Вильджоен. Если что-то и может выступать в качестве такового аксиологического центра, то это идеализированная нормативность, абстрактный идеал человеческого общества как такового. Однако дискурс и его маргиналы всегда исторически и культурно конкретны. Что мы имеем вместо «столба-идола» в реальных сообществах? Как организуется пространство внутри «границ», по которым «обитают» маргиналы?

Вильджоен выделяет важность смысла «края», «границы» как Другого. Этот Другой выступает в качестве «условия для производства нашего дискурса (и всего положительного знания)» (Viljoen 1998: 20). Этот концепт близок понятию «докса», которое использует П. Бурдьё (Бурдьё). Его теория социальных полей, возможно, ближе всего к метафоре маргинальности как пустоты, окружающей поле текста. Докса – «основной текст» – область социальных автоматизмов, которые транслируются без каких-то специальных усилий, поскольку они обеспечены социальным капиталом. Область маргинальности – это принципиально «не основной текст», не докса, которую склонны сохранять «ортодоксы». Это «непереводимый другой», «гетеродокс» («еретик» у Бурдьё). И этот Другой выступает «границей» доксы. Есть и более фундаментальные философские обобщения подобного рода. Самопонимание, как показывает М.М. Бахтин, невозможно без интерпретации Другого; так же «социология Чужака», появлением которой мы обязаны Г. Зиммелью, диалогизм М. Бубера сформировали ставшую уже классической установку: Я выводится из столкновения с Ты; «свое» определяется через знание «чужого». Эта установка для анализа маргинальности важна, но лишь в качестве промежуточного этапа, поскольку маргинал – он и чужак, и свой. Маргинал не настолько далек, как совсем-другой, и он не только опасен как Чужак, но и незаменим как творец нового «своего». Есть, пожалуй, только один философски проработанный тип «своего-чужого», который осуществляется той же напряженностью амбивалентных интенций, что и «маргинал». Речь идет о *homo sacer*.

Homo sacer – формула древнего римского права, обозначающая человека, исключенного из общества «своих» во всех смыслах – политическом и религиозном. При этом он не «чужак», ведь чужак имеет определенный правовой статус. При этом *homo sacer* в особом смысле слова священен. Дж. Агамбен (Агамбен 2011) настаивает на необходимости видеть в *homo sacer* ключ для понимания государственной власти как таковой. Для нашего исследования важно философское обобщение, которое осуществляет исследователь. Рассуждая о *homo sacer*, он подчеркивает: «О нем в буквальном смысле нельзя сказать, находится ли он вне или внутри порядка (поэтому первоначально “*in bando, a bandono*” по-итальянски означает как “в чьей-либо власти, по чьему-то произволу”, так и “по собственной воле, свободно”: например, в выражениях “*coerre a bandono*” и “*bandito*” это слово значит “исключенный, изгнанный”, а в выражениях “*mensa bandita*”, “*a redina bandita*” – “открытый для всех, свободный”)» (Агамбен 2011: 41). Агамбен показывает, как исключение дает возможность осуществления нормального порядка: «В случае суверенного исключения речь в действительности идет не столько о том, чтобы контролировать или нейтрализовать избыточ-

ность, сколько о том, чтобы в первую очередь создать или определить само пространство, в котором политико-правовой порядок мог бы иметь силу» (Агамбен 2011: 27). «Маргинал» – он же «бандит» – концептуально близок анализируемой Агамбеном фигуре-пределу. Она есть «кризис какого-либо ясного различия между принадлежностью и включением, между тем, что находится вне, и тем, что внутри, между исключением и нормой» (Агамбен 2011: 35). Исследование гетерархии в понимании государственности подтверждает эту позицию: «Норма-монополия не может существовать без питающего ее пространства ненормальности. <...> Соответственно не-норма проявляется как “объект умолчания”, “свой-иной”, патологическое, ложное, подавляемое содержание, за счет которого, тем не менее, и оформляется привилегия нормы» (Мартьянов 2009: 238).

Таким образом, принимая тезис о важности «иногo» в осуществлении «своего» (или «нормального»), в контексте исследования маргинальности требуется уточнить, что не знание о «чужом» определяет «нормальное». «Чужое» выступает оппозицией «своему». «Нормальное» в социальном смысле выступает актором оппозиции к «маргинальному» (как «ложному» и «патологическому»). Подчеркнем также, что речь при этом не идет о категории социальной идентичности, поскольку дело не в поиске тождества – с собой, этносом, нацией и т.п., но именно в социальной норме.

Норма связана с ожиданиями людей относительно исполнения индивидуумом своих социальных ролей (экспектациями). Система экспектаций регулируется требованиями соответствия, в первую очередь уподобления «значимым другим» (родители, учителя, герои и т.п.) – но скорее в режиме приближения, а не полного совпадения. Поэтому главным вопросом социальной нормы является проблема допустимых отклонений. И здесь функциональную роль играет не столько принятие (соответствие), сколько *непринятие*. Люди обретают представление о социально нормальном, отталкиваясь от образа «неправильных своих». И дистанцируясь от них, если этого требуют их личностные установки. *Не* алкоголик, *не* бомж – так, возможно, создается первичный уровень социальной нормы. Поэтому повседневная типизация, в том числе маргинала как «опасного своего», есть важнейший механизм защиты социальной нормы.

Отметим, что социальная норма – это не только вопрос приемлемости, но и вопрос достаточности. Осуществление «нормального поведения» для определенного сообщества можно сравнить с формированием речи ребенка. Лепет, как отмечают лингвисты, – это кладезь вокализмов всех возможных языков. Но, получая ответ от взрослого в форме всегда определенных звуков, ребенок осваивает *определенный* язык; речь (норма в определенном смысле) складывается методом исключения. Маргинал – это тот, кто не усвоил «язык нормы», но при этом отнюдь не «ребенок». Взрослый, не соответствующий общим экспектациям, может оцениваться людьми как незрелый, но если он при этом демонстрирует личностную состоятельность и активность, он воспринимается как опасный. Маргинал опасен для социальной нормы. Но чем может навредить норме – доксе, которая уверенно являет себя в форме социальных автоматизмов, какое-то «окраинное» сознание?

Социальная норма связана с самоконтролем, с определенным воздержанием. Маргинал – это далеко не всегда человек без самоконтроля, от которого ожидают бесчинств. Но это всегда человек, который воздерживается от *меньшего*, нежели человек нормы. Маргинал Парка не исключает приоритеты еще какой-то культуры помимо той, в которой пребывает; маргинал в криминалистическом плане сознательно не отказывается от смыслов вне норм права, а маргинал-люмпен опознаваем, как правило, по своей ненормативной лексике; маргинал по своей воле не сторонится идей и ценностей вне круга «нормальных» идей и смыслов для большинства членов его сообщества. Маргинал – всегда человек избытка, и само это богатство выступает конкурентом норме. Поэтому логика самосохранения социума требует сделать маргинала беднее, хотя бы отстранив от ресурсов социального и экономического капитала.

Но маргиналы при этом – отнюдь не исчезающий социальный вид; исследователи в один голос говорят об увеличении этого общественного слоя. По-видимому, маргинальность должна рассматриваться с позиции социальных функций, не сводясь при этом к функции творческого обновления, лиминальности.

«Маргинал отныне не какой-то чужак или прокаженный. Он схож со всеми, идентичен им и в то же время он калека среди себе подобных» (Фарж 1989: 145). Речь идет о тех, кого мы назвали маргиналами по своей воле. Рассуждая об этой «покалеченности», «болезни», мы можем невольно соединить понятия «болезнь» и «ущерб» (ущерб социальных функций). Но вспомним об особом роде «богатстве» маргинала и получим совпадение с философским по своей сути прозрением психоневролога О.Сакса: болезнь не всегда означает *дефициты* (ущерб) функций, часто это как раз *избытки*. Кардинальная смена предмнения (условий понятности) помогла врачу лучше лечить, и она же помогает нам лучше понять маргинальность: это некий *плюс*, добавочная опция. Необходимым оказывается и «лирическое отступление» авторов межкультурного исследования: «По случайному созвучию это слово ассоциируется с санскритской категорией "марга", означающей свободно отыскиваемый человеком духовный путь» (Рашковский 1989: 147). Эта мысль резко контрастирует с расхожим объяснением роста маргинальности отсылками к «бездуховности, поразившей наше общество». В отношении маргинальности как «покалеченности» эвристичнее оказывается логика избытков: «добавочная опция» начинает функционировать тогда, когда человек делает себя инструментом оценки и сверки; непрочность «столба-идола» – пороки нормы – переживается им как личный дискомфорт.

Таким образом, *маргинальность может быть понята как такой тип сознания и поведения, который не является культурно чуждым, но по отношению к которому в форме отрицания выстраивается представление о социальной норме конкретного сообщества*. Социальная функция маргинала является конструктивной, хотя необходимо включает потенциал разрушения. Не всегда осознанными манифестациями, но всегда фактом своего существования *маргиналы дают возможность ставить вопрос о доброкачественности нормы*.

Маргиналистика как область социальных исследований может выступать элементом саморефлексии конкретного социума. «Каковы характеристики нашей нормы? И нормальна ли наша “нормальность”?» – это вопросы, ответить на которые означает взглянуть в конкретные характеристики маргинальности для определенного сообщества. Но при этом для самой маргиналистики важны не только ответы частных наук (социологии, культурологи, психологии и т.п.), но и философская рефлексия. Маргиналистика должна быть фундирована анализом онтологических, аксиологических, гносеологических и других оснований, иметь возможность выбора когнитивного инструментария как вариантов подхода к этому сложному и многогранному объекту.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Агамбен Дж. 2011. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М. : Европа. 256 с.
- Атоян А.И. 1993. Социальная маргиналистика. О предпосылках нового междисциплинарного и культурно-исторического синтеза // ПОЛИС : Полит. исслед. № 6. С. 29-38.
- Балла О. Живущие на краю [Электронный ресурс]. URL: http://www.astrosearch.ru/info/social_sciences/marginals_1.html#.WlXa1R_Jz58 (дата обращения: 10.01.2018).
- Бейлис В.А. 1983. Теория ритуала в трудах Виктора Тэрнера // Тэрнер В. Символ и ритуал. М. : Наука. С. 7-30.
- Бурдьё П. Некоторые свойства полей [Электронный ресурс]. URL: <http://bourdieu.name/content/nekotorye-svoystva-polej> (дата обращения: 10.01.2018).
- Верховский И.А. 2014. Мифологема «свое-чужое» в архаической мирорефлексии (опыт философской интерпретации) // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 14, вып. 3. С. 58-69.
- Галкин А.А. (рук.) 1987. На изломах социальной структуры / рук. авт. коллектива А.А. Галкин. М. : Мысль. 315 с.
- Ионин Л.Г. 2004. Социология культуры. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Издат. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики. 427 с.
- Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего [Электронный ресурс]. URL: http://nbp-chuvashia.narod.ru/biblio/Limonov/Drugaya_Rossija.htm#lection8 (дата обращения: 10.01.2018).
- Лобовиков О.В. 2015. Криминология, история философии и дискретная математическая модель формальной аксиологии преступной деятельности («По понятиям» ли мыслили и жили выдающиеся философы?) // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 15, вып. 4. С. 5-24.
- Мамардашвили М.К. 2002. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Философские чтения. СПб. : Азбука-классика. С. 7-172.
- Маргинализация [Электронный ресурс] // Wiki-linki. URL: <http://wiki-linki.ru/Page/1493092> (дата обращения: 10.01.2018).
- Мартьянов В.С. 2009. Государство и гетерархия: субъекты и факторы общественных изменений // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Вып. 9. С. 230-248/
- Оболкина С.В. 2017. Онтология: от Парменида к Мейясу // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. № 1. С. 50-58.
- Парк Р.Э. 1998. Человеческая миграция и маргинальный человек // Социал. и гуманитар. науки. Сер. 11. Социология. № 3. С. 167-176.

Ратиани И. Теория лиминальности. Проблема антропологии и современного литературоведения [Электронный ресурс]. URL: <http://irmaratiani.ge/teoria.htm> (дата обращения: 10.01.2018).

Рашковский Е. 1989. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М. : Прогресс. С. 146-149.

Солонин Ю.Н. 2003. Маргинальность в философии: опыт ее позитивной оценки в историко-философском понимании // Логико-философские штудии. № 2. С. 286-302.

Степаненко Р.Ф. 2012а. Генезис общеправовой теории маргинальности. Казань : Ун-т управления ТИСБИ. 268 с.

Степаненко Р.Ф. 2012б. Феномен маргинальности: историко-правовые аспекты // Ученые зап. Казан. ун-та. Т. 125, кн. 4. С. 34-39.

Стоунквист Э.В. 1979. Маргинальный человек. Исследование личности и культурного конфликта / реф. подгот. Е.А. Веселкиным // Современная зарубежная этнопсихология. М. С. 91-112.

Тэрнер В. 1983. Символ и ритуал. М. : Наука. 277 с.

Фарж А. 1989. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М. : Прогресс. С. 143-146.

Шибутани Т. 1999. Социальная психология. Ростов н/Д. : Феникс. 544 с.

Iser W. 1991. Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main : Suhrkamp. S. 522.

Sanchez J. Liminality, Marginality, Futurity: Case Studies in Contemporary Science Fiction [Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=anthro_seniortheses (дата обращения: 10.01.2018).

Viljoen H. 1998. Marginalia on Marginality // Alternation. № 5, 2. P. 10-22.



S. Obolkina. Filosofskiy analiz problemy marginal'nosti [Philosophical analysis of marginality problem], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 7–20. (in Russ.).

Svetlana V. Obolkina, Candidate of Philosophy, Assistant Professor, Educational Department of Philosophy, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia.

E-mail: obol2007@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6644-104X

Article received 10.10.2017, accepted 05.12.2017, available online 01.07.2018

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MARGINALITY PROBLEM

Abstract. The article analyzes the notions of marginality in socio-psychological and cultural dimensions. Today, two opposing epistemological tendencies have emerged: first, marginality is assessed positively as a synonym for the notion of creative renewal. The second tendency emphasizes the destructive role of marginality for the individual and society. Primarily, these tendencies are formed due to not quite correct approximation,

and even identification of two meanings: “liminality” – “marginality”, on the one hand, and “lumpen” – “marginal”, on the other. Therefore, the scope of the concept of “marginal” is so wide, and often includes phenomena with the opposite social function, which causes many researchers to doubt its scientific significance. The intention of the article is philosophical reflection over cognitive attitudes, which has created modern understanding of marginality. The goal is to find semantic constant in equally important but opposite semantic vectors of this concept. The key concept of the meta-language in relation to the theme of marginality is concept’s prehension category, which makes possible to talk about specifics of convergent meanings, and to consider ontological prerequisites underlying their identification. Further, modern understanding of social marginality is analyzed in the context of its original meaning: “marginalia” as a note on page side (margin). This helps to rethink the fundamental metaphor serving as the cognitive guide to the study of marginalization process. The author examines it in the context of P. Bourdieu’s theory of social fields, as well as the philosophy of the Other. The notion of the mythologeme “own/alien”, and “homo sacer” formula in solving the question of semantic constant of “marginality” suggests that marginality is related to the category of social norm, and the norm itself is apophatically determined by the phenomenon of marginality.

Keywords: marginal, marginality, liminality, lumpen, concept’s prehension, doxa, social norm.

References

Agamben G. *Homo sacer. Suverennaya vlast' i golaya zhizn'* [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life], Moscow, Evropa, 2011, 256 p. (in Russ.).

Atoyán A.I. *Sotsial'naya marginalistika. O predposylkakh novogo mezhdistsiplinarnogo i kul'turno-istoricheskogo sinteza* [Social marginality. About the prerequisites for new interdisciplinary and cultural-historical synthesis], *POLIS : Politicheskie issledovaniya*, 1993, no. 6, pp. 29-38. (in Russ.).

Balla O. *Zhivushchie na krayu* [Living on the edge], available at: http://www.astrosearch.ru/info/social_sciences/marginals_1.html#.WlXa1R_Jz58 (accessed January 10, 2018). (in Russ.).

Beylis V.A. *Teoriya rituala v trudakh Viktora Ternerera* [The theory of ritual in the writings of Viktor Turner], *V. Terner, Simvol i ritual*, Moscow, Nauka, 1983, pp. 7-30. (in Russ.).

Bourdieu P. *Nekotorye svoystva poley* [Some Properties of Fields], available at: <http://bourdieu.name/content/nekotorye-svoystva-poley> (accessed January 10, 2018). (in Russ.).

Farzh A. *Marginaly* [Marginals], *Yu. Afanas'ev i M. Ferro (eds.), 50/50. Opyt slovarya novogo myshleniya*, Moscow, Progress, 1989, pp. 143-146. (in Russ.).

Galkin A.A. (head of team of authors) *Na izlomakh sotsial'noy struktury* [On the fractures of the social structure], Moscow, Mysl', 1987, 315 p. (in Russ.).

Ionin L.G. *Sotsiologiya kul'tury* [Sociology of culture], 4 ed., rev. and augm., Moscow, Izdat. dom Gos. un-ta – Vyssh. shk. ekonomiki, 2004, 427 p. (in Russ.).

Iser W. *Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie* [The fictional and the imaginary. Perspectives of literary anthropology], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, 522 p. (in German).

Limonov E. *Drugaya Rossiya. Ochertaniya budushchego* [Other Russia. Future outlines], available at: http://nbp-chuvashia.narod.ru/biblio/Limonov/Drugaya_Rossija.htm#lection8 (accessed January 10, 2018). (in Russ.).

Lobovikov O.V. *Kriminologiya, istoriya filosofii i diskretnaya matematicheskaya model' formal'noy aksiologii prestupnoy deyatelnosti («Po ponyatiyam» li myslili i zhili vydayushchiesya filosofiy?)* [Criminology, history of philosophy, and discrete mathematical

model of criminalactivity (were the outstanding philosophers authentic criminals?), *Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk*, 2015, vol. 5, iss. 4, pp. 5-24. (in Russ.).

Mamardashvili M.K. *Vvedenie v filosofiyu* [Introduction to philosophy], M.K. Mamardashvili, *Filosofskie chteniya*, St. Petersburg, Azbuka-klassika, 2002, pp. 7-172. (in Russ.).

Marginalizatsiya [Marginalization], available at: <http://wiki-linki.ru/Page/1493092> (accessed January 10, 2018). (in Russ.).

Martyanov V.S. *Gosudarstvo i geterarkhiya: sub»ekty i faktory obshchestvennykh izmeneniy* [The state and heterarchy: actors and factors of social change], *Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk*, 2009, vol. 9, pp. 230-248. (in Russ.).

Obolkina S.V. *Ontologiya: ot Parmenida k Meyyasu* [Ontology: from Parmenide to Meillassoux], *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2017, no. 1, pp. 50-58. (in Russ.).

Park R.E. *Chelovecheskaya migratsiya i marginal'nyy chelovek* [Human migration and the marginal man], *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Ser. 11. Sotsiologiya*, 1998, no. 3, pp. 167-176. (in Russ.).

Rashkovskiy E. *Marginaly* [Marginals], Yu. Afanas'ev i M. Ferro (eds.), *50/50. Opyt slovarya novogo myshleniya*, Moscow, Progress, 1989, pp. 146-149. (in Russ.).

Ratiani I. *Teoriya liminal'nosti. Problema antropologii i sovremennogo literaturovedeniya* [The theory of Liminality. The problem of anthropology and modern literary studies], available at: <http://irmaratiani.ge/teoria.htm> (accessed January 10, 2018). (in Russ.).

Sanchez J. *Liminality, Marginality, Futurity: Case Studies in Contemporary Science Fiction*, available at: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=anthro_seniortheses (accessed January 10, 2018).

Shibutani T. *Sotsial'naya psikhologiya* [Society and Personality], Rostov-on-Don, Feniks, 1999, 544 p. (in Russ.).

Solonin Yu.N. *Marginal'nost' v filosofii: opyt ee pozitivnoy otsenki v istoriko-filosofskom ponimanii* [Marginality in philosophy: experience its positive assessment of the historical and philosophical understanding], *Logiko-filosofskie shtudii*, 2003, no. 2, pp. 286-302. (in Russ.).

Stepanenko R.F. *Fenomen marginal'nosti: istoriko-pravovye aspekty* [The phenomenon of marginality: historical and legal aspects], *Uchenye zap. Kazan. universiteta*, 2012, vol. 125, b. 4, pp. 34-39. (in Russ.).

Stepanenko R.F. *Genezis obshcheppravovoy teorii marginal'nosti* [Genesis of the General legal theory of marginality], Kazan, Un-t upravleniya TISBI, 2012, 268 p. (in Russ.).

Stonequist E.V. *Marginal'nyy chelovek. Issledovanie lichnosti i kul'turnogo konflikta* [The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict: abstr. of the E.A. Veselkin], *Sovremennaya zarubezhnaya etnopsikhologiya*, Moscow, 1979, pp. 91-112. (in Russ.).

Turner V. *Simvol i ritual* [The Forest of Symbols], Moscow, Nauka, 1983, 277 p. (in Russ.).

Verkhovsky I.A. *Mifologema «svoe-chuzhoe» v arkhaiskoy mirorefleksii (opyt filosofskoy interpretatsii)* [Mythologem of «own-alien» in archaic reflection of the world (attempt of philosophical interpretation)], *Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk*, 2014, vol. 14, iss. 3, pp. 58-69. (in Russ.).

Viljoen H. Marginalia on Marginality, *Alternation*, 1998, no. 5, 2, pp. 10-22.



Степанова Е.А. Религия и мораль: парадоксы взаимозависимости // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 21–39.

УДК 241.13

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.2139

РЕЛИГИЯ И МОРАЛЬ: ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ¹

Елена Алексеевна Степанова

доктор философских наук,

главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН,

главный научный сотрудник Уральского гуманитарного института УрФУ,

г. Екатеринбург, Россия. E-mail: eas142@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-2559-3573

Материал поступил в редколлегию 19.11.2017 г.

В статье рассматриваются различные аспекты соотношения религии и морали в европейской и российской общественной мысли в рамках христианской парадигмы. Отмечается большое разнообразие определений религии в исследовательской литературе; особое внимание уделено так называемому критическому подходу, который подвергает сомнению научную релевантность понятия религии вследствие его зависимости от историко-культурного контекста. В статье проанализированы некоторые исторические типы взаимосвязи религии и морали и сделан следующий вывод: ее характер целиком и полностью определяется историко-культурным контекстом в целом и конкретной формой христианской религии той или иной эпохи в частности. Обращаясь к дискуссии о соотношении религии и морали в постсоветской России, автор констатирует ее радикальную трансформацию за последние десятилетия, связанную прежде всего с изменившимся представлением о месте религии в историко-культурном развитии страны. Переходя к анализу практической стороны соотношения религии и морали, автор отмечает, что зависимость повседневного морального выбора от религиозных убеждений далеко не однозначна, и иллюстрирует это примерами из отечественной и зарубежной исследовательской литературы.

Ключевые слова: религия, мораль, христианство, секуляризация, теория божественного повеления, повседневность, контекст.

Как соотносятся религия и мораль? Особую актуальность вопрос об их взаимосвязи в европейской интеллектуальной традиции приобрел в эпоху модерности по мере постепенной утраты религией своего тотального влияния на социальную жизнь в различных ее проявлениях и образовании независимых от нее (или, по крайней мере, претендующих на

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01194.

независимость) типов общественного и индивидуального сознания. В статье рассматриваются некоторые концепции соотношения религии и морали, сформировавшиеся в европейской (в том числе отечественной) общественной мысли в рамках христианской парадигмы. В самом общем виде они сводятся к трем возможным вариантам: 1) религия и мораль неразделимы; 2) они различны, поскольку каждая обладает своей спецификой; 3) идеи как неразделимости, так и различности одинаково неверны, скорее, можно говорить о взаимозависимости, изменяющейся в соответствии с историко-культурным контекстом (Diener 1997: xi). Поскольку проблема соотношения религии и морали в последнее десятилетие активно обсуждается в России, анализ этих концепций может способствовать вхождению современных российских дискуссий в более широкий идейный контекст. Кроме теоретической стороны проблемы соотношения религии и морали существует также и ее практическая сторона, а именно вопрос о том, какое воздействие на повседневное поведение людей оказывает тот или иной тип взаимовлияния религиозных и моральных убеждений. В статье высказываются некоторые соображения на этот счет на основе имеющихся исследовательских данных.

Религия: трудности определения. Прежде чем рассматривать проблему соотношения религии и морали, необходимо определиться с тем, что именно понимается под религией. В исследовательской литературе существует огромное разнообразие определений этого понятия. В последнее время все большее распространение получает критический подход, который подвергает сомнению научную релевантность понятия «религия», поскольку оно возникло в рамках западной христианской традиции и вследствие этого ограничено определенным историко-культурным контекстом (Laborde 2014). Примером критического подхода является, в частности, книга американской исследовательницы Томоко Мацузава «Изобретение мировых религий» (*The Invention of World Religions*) (Masuzawa 2005), в которой доказывается, что представление о мировых религиях, возникшее в европейской мысли XIX в., опиралось на иерархическую классификацию, где христианству отводилась роль наивысшего воплощения сущности религии (как, например, это утверждается в философии религии Г.В.Ф. Гегеля). Другими словами, сама концепция мировых религий может быть правильно понята лишь в контексте европейской интеллектуальной истории, особенно той ее части, которая развивалась под влиянием протестантизма, а описание иных религиозных традиций являлось конструкцией, по сути дела отражавшей представление Запада о самом себе. Эта конструкция имела ощутимые политические последствия: например, в христианском миссионерстве она фактически стала орудием колониализма, когда местные верования расценивались в качестве «предрассудков», подлежащих искоренению и замене на «истинную религию» – христианство.

Действительно, традиции, которые принято объединять понятием «религия», настолько различны, что некоторые представители критического подхода считают, что от него следует вообще отказаться. Так, Тимоти Фитцджеральд в книге «Идеология исследования религии» (*The Ideology*

of Religious Studies) доказывает, что понятие «религия» является в первую очередь идеологической категорией, исходящей из определенных представлений о человеческой природе, которой предписывается в качестве обязательного стремление к сверхъестественной реальности как источнику универсальных ценностей (Fitzgerald 2003). Однако само представление о сверхъестественной реальности в разных культурах полностью зависит от специфического социального контекста, так что в каждом конкретном случае оно будет различным (Fitzgerald 2003: 6). Не углубляясь далее в дискуссию о релевантности самого понятия «религия», приведу мнение по этому поводу американского исследователя Айвана Стренски, который полагает: во-первых, как те, кто отказывает этому понятию в праве на существование, так и те, кто не видит в нем проблему, позиционируются в рамках одного и того же дискурса, поэтому отмена понятия, по сути, ничего не меняет; во-вторых, отрицание понятия не означает отрицания явления, которое за этим стоит и в любом случае нуждается в исследовании, как бы оно ни называлось (Strenski 2004).

Еще одно основание для критического подхода к понятию религии – это его зависимость от дихотомии светского и религиозного, которая используется государством западного либерального типа для легитимации своего представления о религии, подразумевающего принцип религиозного индивидуализма и отнесение религии исключительно к частной сфере. Более того, как полагает американский антрополог Талал Асад, в государстве этого типа к публичным дебатам допускается только такая религия, которая способна рационально выразить свою позицию и заранее вписаться в либеральный дискурс (Asad 2003). Именно светское государство определяет, что есть религия, относя ее к сфере сверхъестественного (иррационального) в противовес светской рациональности. Важные соображения в пользу критического подхода высказывает американский исследователь религии Уильям Кавано: с его точки зрения, у религии нет никакой транс-исторической и транскультурной сущности, укорененной в человеческой природе. То, что рассматривается в качестве религиозного и секулярного, в каждом временном контексте является функцией от конфигурации политической власти (Cavanaugh 2009). Кроме того, светские идеологии – национализм, марксизм, капитализм, либерализм – не в меньшей степени отличаются иррациональностью и догматизмом, чем это обычно приписывают религии (Cavanaugh 2009: 6).

Особый подход к исследованию религии обосновывает английский политический философ Сесиль Лаборд. Она называет его стратегией «разукрупнения религии» (*disaggregating religion*) (Laborde 2014). Этот подход строится на признании того факта, что понятие «религия» имеет разное значение в разных контекстах и допускает разные принципы ее изучения со стороны разных дисциплин: антропологии, истории, философии, феноменологии, психологии, социологии и т.д. С юридической точки зрения это означает, что на законодательном уровне не следует предоставлять привилегии какой-то конкретной религии, поскольку в этом случае не только искажается сам принцип свободы совести, но из общественной жизни

исключаются те качества религии, которые не характерны для ее разновидности, по тем или иным причинам признанной привилегированной. Обоснованию этой идеи посвящена недавно изданная книга С. Лаборд «Религия либерализма» (*Liberalism's Religion*), в которой она рассуждает о многообразии проявлений религии в современном плюралистическом обществе (Laborde 2017).

Таким образом, можно констатировать следующее: религия как теоретическая категория получила развитие в определенном историко-культурном контексте, а именно в европейской интеллектуальной традиции Нового времени и эпохи Просвещения, и поэтому к ее применению в других контекстах следует подходить избирательно. Тем не менее, если все же использовать это понятие за неимением лучшего, нужно помнить о том, что религия поворачивается разными сторонами в зависимости от дисциплинарной стратегии. Кроме того, каждая конкретная религия распадается на множество вариаций и практикуется самыми различными способами: везде есть как свои ортодоксы, консерваторы и фундаменталисты, так и либералы, прогрессисты и модернисты (Diener, 1997: 3). Следовательно, для анализа проблемы, поставленной в статье, – взаимосвязи религии и морали – важно точно определить, какая именно религия, какая ее конкретная разновидность, в какой исторический период и в каких социально-культурных обстоятельствах рассматривается.

Религия и мораль: типы взаимосвязи и концептуальное многообразие. Главная интеллектуальная проблема, касающаяся сущности морали, понимаемой здесь как набор правил и обычаев, определяющих повседневное поведение людей, – это определение источника представлений о добре и зле, который может находиться либо вне человека, либо в нем самом. В первоначальной постановке проблемы добра и зла у Сократа присутствует принцип их независимого существования в виде отсылки к божественному (в древнегреческом понимании) внутреннему голосу (*daimonion*), направлявшему человека на поиски всеобщего морального закона. В христианский период европейской интеллектуальной истории можно выделить три основных типа суждений о религии – источнике объективных представлений о добре и зле: это восприятие религии как тотальности, пронизывающей все сферы человеческой жизни, включая мораль; критика исторической религии в качестве искажения истинной веры, которая является основой истинной морали; утверждение автономности морали по отношению к религии и самостоятельности человека (общества) в определении моральных предпочтений. В современных дискуссиях присутствуют все три типа, при этом постмодернизм прибавил к ним сомнение в истинности и религии, и морали как метанарративов, утративших свою убедительность, или как социально-культурных типов дискурса, диктуемого властными отношениями того или иного общества.

Первый этап соответствует предмодерной эпохе, когда, по словам канадского философа Чарльза Тейлора, «все различия, которые мы проводим между религиозным, политическим, экономическим, социальным и т.д. аспектами нашего общества, не имеют никакого смысла. В этих преж-

них обществах религия была “везде”, она была вплетена во все остальное и ни к коей степени не образовывала свою собственную отдельную сферу» (Taylor 2007: 2). Эту «вплетенность» религии (ясно, что речь здесь идет исключительно о христианстве) во все сферы жизни, включая мораль, прекрасно демонстрирует теологическая система Фомы Аквината, в которой первоначально всего сущего (блага) является Творец, трансцендентный созданный им вселенной.

В системе Фомы все законы природы и общества являются частными случаями божественного закона, который с необходимостью должен быть вечным, как вечен сам Бог. Человек, будучи разумным творением, обязан знать, чего требует от него вечный закон, а для этого данный закон должен быть некоторым образом запечатлен в самой человеческой субстанции; чтобы повиноваться ему, людям достаточно следовать склонностям своей природы; поэтому указанный закон именуется *естественным*. Первое и главное его предписание, исходное начало всякой человеческой деятельности, есть «совершение блага и следование ему, а также избегание зла» (Фома Аквинский 2012: 325). Благо – конечная цель всех творений, а эта конечная цель есть Бог. Совершение блага в понимании Фомы не моральное предписание, но следование естественному закону, то есть самой человеческой природе, которая стремится к счастью через разумное согласие с добродетелью.

Почему же не все люди и не всегда стремятся к благу? Дело в том, как считает Фома, что между естественным законом и нашими действиями находится человеческий закон, который определяет различные способы приложения естественного закона. Человеческие законы предписывают частные действия, которых требует от человека естественный закон, поэтому они обязательны лишь в той мере, в какой справедливы. Поскольку естественный закон присущ всем людям как разумным творениям, концепция Фомы предполагает, что все люди являются моральными существами, способными действовать автономно, то есть в согласии с разумом, данным человеку Богом (Жильсон 1999). Таким образом, в системе Фомы религия и мораль тождественны в силу единства самой человеческой природы.

Второй этап связан с моральной философией Иммануила Канта. Начиная свой анализ соотношения религии и морали, Кант признает факт радикальной испорченности человеческой природы: человек зол потому, что, сознавая моральный закон, тем не менее в своих действиях отступает от него. Он становится добрым тогда, когда сам делает себя таковым, свободно принимая добро в качестве максимы своих поступков. Кант называет евангельскую историю о жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа «олицетворенной идеей доброго принципа», который заключается в осуществлении полного морального совершенства человечества, являющегося целью божественного творения мира. Христос есть «первообраз нравственного убеждения во всей его чистоте» (Кант 1980: 129). Сын Божий унился до того, что, будучи святым и в силу этого свободным от страдания, по своей воле принял на себя страдание для содействия совершенствованию человека; здесь находится основание практической веры, которая дает человеку

возможность полагаться на самого себя и неизменно следовать первообразу человечности, явленному в Христе. Практическая вера чистого разума основана на том, что никакое нравственное действие невозможно без осознания подлинных мотивов своих поступков и способности в поведении исходить из моральных максим.

Кант различает чистую религиозную веру и историческую веру. Критерием различения является форма повиновения Богу: в первом случае она заключается в том, что разум в самом себе познает божественную волю, что соответствует потребности разума признавать силу, способную с наибольшей полнотой воплощать в себе нравственность; во втором случае познание религии происходит не с помощью разума, а с помощью откровения. Люди стремятся к объединению на почве веры и образуют церковь, требующую не только чистой веры разума, но и исторической веры, которая претендует на то, чтобы выдавать себя за воплощение божественного законодательства. Однако историческая церковная вера не может быть убедительна для всех, поскольку она основана на откровении как на опыте, который не может быть общезначимым. Итак, только чистая религиозная вера, целиком основанная на разуме, может быть необходимым и единственным условием, которое отличает истинную церковь, а видимая церковь должна постоянно поверяться стандартами истинной церкви чистого разума. Пауль Тиллих писал, что «эмпирическая церковь рассматривалась им (Кантом) как сообщество, управляемое предрассудками и интересами церковных авторитетов. Поэтому принадлежность человека к истинной церкви должно преодолевать ограниченность видимой церкви, которая подменяет автономию гетерономией и разрушает разум суевериями» (Tillich 1967: 68).

Такой естественной религией, основанной на чистой религиозной вере и образующей первую истинную церковь, Кант считает христианство, но взятое в его истоках, то есть в том виде, в каком оно изложено в Писании. Основные положения учения Христа сформулированы таким образом, что их доказательство содержится в них самих – в этом смысле они являются учением чистого разума. Эти положения представляют собой предельные основания нравственности, моральные максимы, суть которых заключается в необходимости исполнения долга не из каких-либо посторонних побуждений, а исключительно из непосредственного уважения к нему самому.

Таким образом, в философии Канта было сделано важнейшее допущение: религия (христианство) является основанием нравственности, но речь идет не о реально существующей религии, как это было у Фомы, но об ее идеальной форме, а именно о первоначальном христианстве, не искаженном в ходе последующего развития исторических церквей, неважно, католических или протестантских¹. В такой трактовке истинная религия и есть мораль в ее абсолютном выражении, присущая человеку как автономному разумному существу. Такую же позицию по поводу соотношения религии и морали занимал Л.Н. Толстой. Широко известно его высказывание о том, что «попытки основать нравственность помимо религии подобны тому,

¹Православное христианство находилось за пределами внимания европейской философии.

что делают дети, которые, желая пересадить нравящееся им растение, отрывают от него не нравящийся им и кажущийся им лишним корень и без корня втыкают растение в землю. Без религиозной основы не может быть никакой настоящей, непритворной нравственности, точно так же, как без корня не может быть настоящего растения». И далее, отвечая на вопрос о сущности религии и нравственности, Толстой добавляет: «Религия есть известное, установленное человеком отношение своей отдельной личности к бесконечному миру или началу его. Нравственность же есть всегдашнее руководство жизни, вытекающее из этого отношения» (Толстой 1956: 39, 26). Здесь, так же как у Канта, идет речь не об исторической религии, а о религии в ее истинном смысле, как его понимает Толстой, то есть как об универсальном законе жизни, имманентном разуму и тождественном человеческому существованию.

Как отмечает М.Л. Гельфонд, «одним из наиболее характерных для человеческого мышления способов подобного удостоверения религии в ее истинном смысле оказывается последовательная морализация ее императивно-ценностного содержания, состоящая в постепенном отождествлении священного как абсолютного выражения истинности с нравственно совершенным, справедливым или должным» (Гельфонд 2013: 91). Этот процесс сопровождался все более острой постановкой фундаментального для европейского философского сознания вопроса о соотношении религии и морали. Проведенное Кантом разделение истинной и исторической религий в дальнейшем сыграло огромную роль в дискуссиях на богословские и этические темы, получив развитие – до логического конца – в философии Фридриха Ницше, считавшего христианство ответственным за искажение подлинной морали вследствие навязанного людям чувства вины¹.

На *третьем этапе* (XIX – начало XX в.) возникают атеистические концепции морали, в которых обосновывается необходимость эмансипации морали от исторической религии. Так, Эмиль Дюркгейм в своей теории морали, которую в определенной степени можно считать социологической интерпретацией моральной философии Канта, исходил из того, что кризис современного ему французского общества конца XIX – начала XX в. был проявлением кризиса всего западного мира в момент перехода от традиционного общества к обществу модерности. Помимо всего прочего, этот кризис означал установление нового морального порядка. В традиционном обществе, подчеркивал Дюркгейм, мораль была основана на религии, и человек

¹ «Чувство задолженности божеству не переставало расти на протяжении многих тысячелетий, и притом все в той же пропорции, в какой росло на Земле и взмывало вверх понятие Бога и ощущение Бога... Восхождение христианского Бога как максимального Бога, достигшего пика градации, повлекло за собою и максимум чувства вины на Земле. Допустив, что мы наконец вступили в обратное движение, позволительно было бы с немалой степенью вероятности заключить из неудержимого упадка веры в христианского Бога, что уже и теперь в человеке налицо значительный спад сознания вины; в любом случае не следует исключать шанса, что полная и совершенная победа атеизма смогла бы освободить человечество от всего этого чувства задолженности своему началу, своей *causa prima*» (Ницше 1997: 376).

нес моральные обязательства не перед другими людьми, а перед Богом (богами) и должен был исполнять предписанные свыше правила. Но со временем положение вещей изменилось. Обязанности перед другими людьми усложнялись, становились более конкретными и обретали приоритетность относительно обязанностей перед Богом. Этому, по мнению Дюркгейма, в значительной степени способствовало христианство как религия, в которой Бог отдает себя в жертву во имя спасения человечества и главной заповедью и обязанностью перед Богом является любовь к ближнему. Постепенно человеческие моральные обязанности становились независимыми от религиозных соображений, и в результате «моральные функции божественных сил стали в чистом виде *raison d'être* (разумным основанием жизни. – *Е.С.*)» (Durkheim 1961: 7).

Секуляризация морали не означает простое замещение религиозных понятий светскими. В морали глубоко укоренено религиозное начало, которое заключается в представлении о Боге как гаранте морального порядка, и это начало не так просто удалить. Некоторые моральные идеи настолько слились с религиозными, что стало невозможным отделить их друг от друга. Кроме того, механическое удаление религиозных элементов из морали может привести к уничтожению ее собственного содержания. Чтобы избежать этой опасности, считает Дюркгейм, следует отказаться от искусственного разделения религии и морали и открывать в религиозных концепциях скрытые в них моральные принципы: «Мы должны разделить их, определить, из чего они состоят, выяснить их подлинную природу и выразить на рациональном языке. Другими словами, мы должны найти рациональную замену тем религиозным понятиям, которые на протяжении длительного времени служили средством передачи наиболее существенных моральных идей» (Durkheim 1961: 9). В современном обществе, полагал Дюркгейм, необходимо последовательно избавляться от представления о священном, квазирелигиозном характере морали. В ней есть то, что может быть названо своим собственным именем и обосновано логически без обращения к трансцендентальной реальности. Моральные нормы в прошлом имели религиозное обоснование, но это совершенно не означает, что их нельзя выразить иным способом.

В XX в. дискуссия по поводу соотношения религии и морали приобрела новое измерение после появления в 1903 г. книги «Принципы этики» (*Principia Ethica*) Джорджа Эдварда Мура, английского философа, одного из родоначальников аналитической философии. Книга Мура переводит дискуссию о морали на язык метаэтики, исследуя фундаментальные принципы этических суждений. Для этого, как указывает Мур, необходимо отвлечься от определения какого-либо действия или предмета как доброго или злого и поставить вопрос о самом качестве добра и зла, то есть о том, что суть добро и зло сами по себе. В результате тщательного анализа всевозможных определений, использующих как естественную, так и метафизическую аргументацию, Мур пришел к выводу о том, что это качество неопределимо, поскольку оно распадается на множество частных определений, относящихся к внеэтическим сущностям и логически несводимых к непротиворечивому

целому. Например, когда мы утверждаем, что добро есть удовольствие, вопрос о том, насколько удовольствие является добром, остается открытым. То же самое относится к утверждению, что всякое Божье повеление есть добро, поскольку всегда остается вопрос о том, что именно повелевает Бог (как в случае с библейской историей о жертвоприношении Авраама).

Метаэтический подход Мура был направлен, кроме всего прочего, против логики так называемой теории божественного повеления (*Divine Command Theory, DCT*), согласно которой мораль основана на Божьих заповедях, а моральное поведение есть подчинение данным заповедям. При этом конкретное содержание заповедей может различаться в зависимости от разновидности религии, хотя понятно, что указанная теория имеет смысл только применительно к теистическим религиям, предлагая метафизическое основание для объективного существования моральных представлений. Философ полагал, что этика, основанная на метафизической аргументации, также совершает ошибку, стремясь вывести моральные принципы из сверхчувственной сущности: «Упорную приверженность предрассудку, что якобы знание о сверхчувственной реальности было необходимым этапом для получения знания о том, что является добром самим по себе, мы можем приписать отчасти непониманию той истины, что предметом учения о ценности не является *реальность* оцениваемого предмета» (Мур 1984: 200).

В последние десятилетия XX в. теория божественного повеления вновь активно обсуждается в англоязычной моральной философии в качестве противовеса постмодернистскому релятивизму. Здесь нет возможности подробно разбирать аргументы «за» и «против» этой теории. Отметим, что основное возражение против нее основано на так называемой «дилемме Евтифрона», сформулированной в одноименном диалоге Платона в качестве вопроса, который задает Сократ: «Благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?» Иначе эту дилемму можно сформулировать так: повелевает ли Бог поступить определенным образом, потому что это верно в моральном смысле, или же это верно в моральном смысле, потому что так велит Бог? Согласно теории божественного повеления правильно второе, однако выбор этого варианта рождает серьезные содержательные и логические противоречия, самым существенным из которых является то, что Бог может посчитать морально верным все, что угодно, в том числе нечто такое, что, с нашей точки зрения, является морально предосудительным. С другой стороны, если Бог любит нечто в силу его моральной благодати, это означает, что благо уже существует и Бог вторичен по отношению к нему и не властен над ним; это рождает сомнение в суверенности и всемогуществе Бога (Мюррей, Рей 2010: 352-353).

Один из вариантов стратегии защиты теории божественного повеления и решения дилеммы Евтифрона предложил американский философ Роберт Адамс. По его мнению, смысл этой теории заключается в том, что «любое действие является морально неверным только в том случае, если оно противоположно повелениям любящего Бога» (Adams 1987: 132). Другими словами, мораль основана не просто на Божьих повелениях, но на

неизменной всемиростивой сущности Бога, который не может повелеть ничего такого, что противоречило бы этой природе. Бог является источником морали, поскольку мораль имплицитна совершенной природе Бога, тем самым обретая метафизический статус.

Важно подчеркнуть, что из приведенного выше по необходимости краткого рассмотрения некоторых западных теологических и философских концепций взаимосвязи религии и морали следует, что характер этой взаимосвязи полностью определяется историко-культурным контекстом в целом и конкретной формой христианской религии той или иной эпохи в частности. Так, контекст предмодерной эпохи позволил св. Фоме утверждать главенство естественного божественного закона, управляющего человеческими действиями в силу своего имманентного характера, и создать внутренне непротиворечивое представление о морали как следствии этого естественного закона. По мере перехода к «эре секулярности» (по выражению Чарльза Тейлора) религия постепенно утрачивала свое тотальное господство над социальной и индивидуальной жизнью и в конечном итоге заняла равное или даже подчиненное место в структуре общества. Следствием этого была постепенно укреплявшаяся уверенность в том, что люди сами способны устанавливать моральный порядок и следовать ему. В результате возникла сама проблема соотношения морали и религии, которую можно было решать двояким образом: либо доказывая эту связь, либо отрицая ее.

В современный период давняя дискуссия о взаимосвязи религии и морали не только не утратила своей актуальности, но и вряд ли может закончиться какими бы то ни было окончательными выводами в обозримом будущем. Другое дело, что в современную плюралистическую эпоху разные, порой взаимоисключающие точки зрения сосуществуют в едином интеллектуальном пространстве, оставляя место для анализа старых аргументов и поиска новых.

Новый поворот старой темы: дискуссия о религии и морали в постсоветской России. Если обратиться к отечественным дискуссиям на эту тему, то можно констатировать ее радикальную трансформацию за последние десятилетия, связанную прежде всего с изменившимся представлением о месте религии в историко-культурном развитии страны. Сегодня в России весьма распространено представление о том, что (традиционная) религия есть подлинная основа нравственности, которая непременно должна привести к моральному усовершенствованию общества.

В классическом марксизме мораль и религия рассматривались как специфические носители идеологии, то есть в качестве превращенных форм общественного сознания, не обладающих собственным содержанием и призванных скрывать стоящие за ними социально-экономические отношения господства и подчинения в классовом обществе. Как утверждали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии», «мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии ... утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития» (Маркс, Энгельс 1955: 25). Теоретическая рефлексия по поводу этических проблем в советский период возникла до-

статочно поздно – в начале 1960-х гг. – и была связана в первую очередь с включением в новую Программу КПСС раздела, посвященного морали (Морального кодекса строителя коммунизма). Марксистско-ленинская этика рассматривалась как разрешение ранее существовавших в моральной философии противоречий, в частности между натуралистическими и метафизическими концепциями морали, приписывающими моральные законы либо естественной природе человека, либо сверхъестественной реальности. Мораль понималась как долженствование, направленное на создание нового коммунистического общества и, соответственно, нового человека – строителя этого общества. Естественно, что религии в этой концепции места не предусматривалось.

В постсоветский период особую актуальность в российской общественной мысли приобрели дискуссии по противоположному поводу, а именно о том, может ли вообще существовать мораль, независимая от религии, а также о том, может ли неверующий человек быть нравственным. Рассуждая о взаимодействии морали с религией и о точках пересечения между ними, российский философ Абдусалам Гусейнов подчеркивает, во-первых, то обстоятельство, что не существует религии вообще, но есть «многообразные, часто отрицающие друг друга религиозные опыты». Во-вторых, он утверждает, что мораль, независимая от религии, безусловно, возможна, и приводит в пример древнюю Грецию, в которой возникло само понятие этики, а также советский опыт: «Как бы ни оценивать советскую эпоху, одно несомненно: ее нравственная повседневность ни в коем случае не может считаться провалом по сравнению с эпохой, которая предшествовала ей, и со временем, которое наступило после нее» (Гусейнов 2008). А. Гусейнов считает идею о положительной роли религии в поддержании общественной морали мифом в том смысле, что эта идея считается само собой разумеющейся и принимается некритически, а также обращает внимание на неочевидность взаимосвязи между изменением отношения к религии в России и реальным моральным состоянием общества: «Одно можно сказать точно: религия и церковь не удержали от той деградации общественных нравов», которая произошла в стране за последние двадцать лет (Гусейнов 2008: 258).

Безусловно, наиболее авторитетный голос, защищающий идею невозможности безрелигиозной морали, принадлежит Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. В своих многочисленных письменных и устных выступлениях он обосновывает следующую концепцию: во-первых, вечные и неизменные общечеловеческие ценности – вера, любовь, долг, ответственность, солидарность – восходят к дохристианскому представлению о естественных нравственных нормах, не зависящих от конкретных социальных обстоятельств и человеческих представлений и не являющихся результатом исторической эволюции. Они вложены в природу человека Богом и соотносимы уже с первыми шагами человеческой цивилизации. По словам Кирилла, нравственный закон «вписан в саму структуру мироздания, и потому отвергнуть его – значит встать на путь, ведущий к разрушению и личности, и общества» (Кирилл, Патриарх... 2014). Мораль – это внутренняя «скрепа», «колонна», фундаментальный принцип, находящийся внутри человека,

единственная сила, которая обеспечивает системное и целостное восприятие бытия. В качестве интегральной части человеческой природы мораль также принадлежит отдельному человеку, но и наоборот: «Ведь если нечто присуще мне, но не присуще другому человеку, то это уже не объединяющее начало, это не скрепа, не фундамент. И единственной скрепляющей силой, формирующей целостное сознание человека, целостное восприятие мира, истории, бытия, является нравственность» (Кирилл, Патриарх... 2009). Мораль как способность различать добро и зло характерна для всех «нравственно здоровых людей», не причисляющих себя ни к какой религии, но живущих по закону совести (Кирилл, Патриарх... 2014).

Во-вторых, необходимым условием морали является свобода, при этом Кирилл проводит различие между двумя типами свободы: внутренней свободой от власти греха вследствие осознанного подчинения себя Божьей воле и свободой морального выбора. Избавление от власти греха необходимо для раскрепощения человеческой воли и свободного согласования ее с волей Божьей. Однако второй тип свободы – свободы морального выбора – неизбежно приводит «к радикальному отказу от нормативного значения традиции, в первую очередь религиозной ... к абсолютизации права индивида определять, что есть добро, а что есть зло» (Кирилл, Патриарх... 2008: 41), и, в конце концов, к раскрепощению «темного “дионисийского”... начала, которое есть в каждом человеке. Это тупиковый, губительный для нашей цивилизации путь. Поэтому либеральный принцип: “Моя свобода не должна ограничивать свободу другого человека” – очень опасен, если он является единственным сдерживающим началом» (Кирилл, Патриарх... 2008: 46).

В-третьих, подчеркивает Кирилл, в современную эпоху подлинная мораль сталкивается с разнообразными угрозами. Так, постмодернизм размывает христианское представление о добре и зле, ставя знак равенства между истиной и ее интерпретациями, а технический прогресс заставляет людей гнаться за материальными благами в ущерб нравственным ценностям (Кирилл, Патриарх... 2008: 131). Для того чтобы противостоять этим угрозам, необходимо стремиться к единству человечества на основе общечеловеческой нравственности: «Эта нравственная основа и подлежит выделению из множества существующих сегодня моральных кодексов. Поиск единых этических норм, выражающих само существо нравственной природы человека, должен стать предметом всеобщего диалога с участием религий и идеологий. Иначе говоря, существующая множественность кодексов морали должна уступить в наш век место единому моральному кодексу, основанному на абсолютных нравственных нормах» (Кирилл, Патриарх... 135). Патриарх Кирилл выступает за широкий общественный диалог по вопросам морали как внутри России, так и за ее пределами с участием государственных органов и религиозных организаций.

Безусловно, дискуссия о взаимовлиянии религии и морали, идущая сегодня в России, далека от завершения, а ее острота, помимо всего прочего, указывает на существенный недостаток надежных ценностных ориентиров, которые могли бы придать смысл повседневной жизни людей. Выше были рассмотрены некоторые варианты концептуальной интерпретации

взаимосвязи религии и морали. Однако у этой проблемы помимо теоретического есть и практическое измерение, а именно вопрос о корреляции между теоретическими концепциями морали, в том или ином смысле основанной на религии, и практическим моральным поведением людей в повседневной жизни.

Религия и повседневная мораль: неоднозначность влияния. Религии, как правило, уделяют большое внимание повседневному моральному поведению в плане его соответствия вероучительным принципам и установленной ритуальной практике. Однако и в том, и в другом случае корреляция поведения и религиозности далеко не так однозначна, как хотелось бы тем, кто разделяет популярное убеждение в неразрывной связи морали и религии и в том, что верующий человек по определению является нравственным, а неверующий, соответственно, аморальным. Тем не менее недавний опрос, проведенный в 13 странах (принадлежащих к разным религиозным традициям) на 5 континентах, показал широкую распространенность моральных предрассудков относительно неверующих людей не только в теократических, но и в светских государствах: «Во всем мире религиозная вера интуитивно воспринимается как необходимая гарантия против склонности к грубому аморальному поведению, а атеисты, как правило, оцениваются как потенциальные носители моральной депривации и опасности. Другими словами, люди воспринимают веру в бога как надежный моральный буфер, предохраняющий от аморального поведения» (Gervais et al. 2017: 2). В то же время, как показывает проведенное в США исследование, атеисты также склонны к определенным стереотипам в оценке моральных качеств верующих.

С другой стороны, как считает, например, исследователь религии Джейсон Слоун, верующие люди далеко не всегда ведут себя в соответствии с вероучительными положениями своей религии и часто соглашаются с тем, что им противоречит. Если бы дело обстояло иначе, верующие не совершали бы преступления, не нарушали бы заповеди и не молились бы за победу над своими врагами. Слоун называет это «теологической некорректностью» (*theological incorrectness*): «Теология не определяет действительные мысли и поведение людей. На самом деле, (теологические) идеи, которые человек воспринимает из своей культуры, лишь частично играют роль в том, о чем люди думают и что делают... Идеи, которые мы называем “религиозными”, используются лишь в определенных ситуациях, а не все время» (Slone 2007: 4).

Социолог религии Марк Чавес называет утверждение о том, что люди ведут себя в соответствии с религиозной верой и заповедями, «заблуждением о религиозной сообразности» (*religious congruence fallacy*). Это заблуждение заключается в представлении о том, что, во-первых, религиозные верования и ценности людей логичны и последовательны; во-вторых, что их поведение непосредственно вытекает из этих верований и ценностей; в-третьих, что эти верования и ценности неизменны и не зависят от социально-культурного контекста (Chaves 2010: 2; Пруцкова 2013: 73).

На самом деле взаимосвязь индивидуальной религиозности и морального поведения во многом определяется контекстом той или иной страны,

а именно ее религиозными традициями, наличием или отсутствием доминирующей религии, присутствием религии (религий) в публичном пространстве, наличием или отсутствием религиозного образования в школе, а также его содержанием и т.д. (Finke, Adamczyk 2008). Так, недавно проведенное в США исследование показывает, что моральное поведение атеистов и верующих во многом отличается, что приводит к серьезным конфликтам между этими группами населения (Simpson, Rios 2016); между тем в скандинавских странах атеисты и верующие более или менее совпадают в моральных предпочтениях, а противоречия между ними почти отсутствуют (Zuckerman 2012).

В последнее время в России также стали появляться исследования о влиянии религиозных убеждений на моральное поведение, осуществляемые в основном в предметном поле социологии, психологии и антропологии религии. Социологический подход отражен в работах Елены Пруцковой, которая подчеркивает, что привычные количественные социологические методы изучения влияния индивидуальной религиозности на моральные практики людей не дают ответа на вопрос о том, в чем заключается это влияние (Пруцкова 2013). Кроме того, в России имеет место высокий уровень несогласованности индивидуальной религиозности и ее ценностно-нормативных следствий, что можно объяснить слабостью религиозной социализации (Пруцкова 2013: 74).

В рамках психологического подхода следует отметить проведенное недавно исследование, целью которого, как и упомянутого выше американского исследования, было выявление различий в моральных суждениях верующих и неверующих людей. Его авторы пришли к выводу о том, что при решении моральных дилемм ведущую роль играют «общекультурные факторы, в том числе интуитивное вовлечение религиозного компонента российской культуры», тогда как степень религиозности не находит прямого отражения в моральных суждениях респондентов (Арутюнова и др. 2016: 31).

Наконец, примером антропологического подхода может служить анализ православной церковно-приходской культуры в России, осуществленный Борисом Кнорре, который выделяет две парадигмы в современном российском православии: одна основана на радости общения с Богом и живом чувстве веры, другая – на неспособности человека принять Божью благодать из-за тотальной испорченности его природы грехом. В этой второй парадигме принципиальное значение имеют категории вины и смирения, требующие послушания в смысле отказа от своей воли. Это приводит к заниженной самооценке и, как следствие, позволяет избегать ответственности за свои поступки и отказываться принимать самостоятельные решения. Причиной этого, как полагает Б. Кнорре, является то обстоятельство, что «церковно-назидательная литература, церковные компендиумы по нравственному богословию используют категории вины и смирения в качестве системного элемента церковной этики» (Кнорре 2011: 339). Эта постановка «падшей природы» человека во главу угла является серьезной коллизией современного российского православия.

* * *

Решение проблемы соотношения и взаимовлияния религии и морали, как показано выше, определяется тем смыслом, который обсуждающие ее исследователи вкладывают в сами эти понятия, а смысл этот, в свою очередь, зависит от конкретной социально-культурной ситуации. В целом данная проблема имеет несколько уровней обсуждения: первый, теоретический уровень насчитывает уже более двух тысячелетий и весьма далек от своего завершения. На этом уровне, как было сказано в самом начале статьи, существуют три варианта решения проблемы: религия первична относительно морали, поскольку обеспечивает трансцендентное обоснование моральных категорий; мораль обладает своим собственным суверенитетом, метафизическим или натуралистическим; религия и мораль связаны, но эта связь зависит от конкретного социально-культурного контекста. Наверное, к этому уровню обсуждения проблемы в наибольшей степени применимо известное высказывание Людвиг Витгенштейна по поводу возможности выразить сущность религии и морали в языке: «Что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать» (Витгенштейн 1994: 29).

Второй уровень касается непосредственных моральных предписаний по поводу повседневного поведения человека и отношения к тем или иным социальным и личностным проблемам. Существует множество вариантов связи этих предписаний с вероучительными положениями религии или с представлениями конкретного индивида о смысле этих положений. К тому же в современном мире люди все в большей степени получают свободу выбора собственных моральных предпочтений, которые могут опосредоваться религиозными убеждениями, но могут быть и свободными от них. Представляется, что исследовательский интерес социально-гуманитарных наук сегодня смещается с обоснования тех или иных теоретических моделей взаимосвязи религии и морали в сторону исследования реального состояния и причин этой взаимосвязи в той или иной конкретной социальной ситуации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Арутюнова К.Р., Агарков В.А., Александров Ю.И. 2016. Мораль и религия: исследование моральных суждений православных христиан и неверующих людей в российской культуре // Эксперимент. психология. № 9 (1). С. 21-37. DOI: 10.17759/expsy.2016090103

Витгенштейн Л. 1994. Логико-философский трактат // Философские работы. М. : Гнозис. Ч. 1. С. 1-75.

Гельфонд М. 2013. К вопросу о соотношении морали и религии: истина или абсолютизм // Этическая мысль. М. : Ин-т философии РАН. Вып. 13. С. 90-104.

Гусейнов А.А. 2008. Без этики нет философии // Логос. № 1. С. 239-262.

Гусейнов А.А. 2006. Возможна ли мораль (нравственность), независимая от религии? [Электронный ресурс]. URL: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001043/st000.shtml> (дата обращения: 12.09.2017).

Жильсон Э. 1999. Избранное. Т. 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М. ; СПб. : Университет. кн. 496 с.

Кант И. 1980. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М. : Наука. С. 78-278.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 2008. Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности. М. : Отдел внешних церковных связей Моск. Патриархата. 161 с.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 2009. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании президиума Российской академии образования 11 ноября 2009 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/934483.html> (дата обращения: 22.02.2017).

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 2014. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ 28 января 2014 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3544704.html> (дата обращения: 06.10.2016).

Кнорре Б. 2011. Категории «вины» и «смирения» в системе ценностей церковно-приходской субкультуры // Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности / под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М. : Вест Мир. С. 317-340.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М. : Политиздат. Т. 3. С. 7-453.

Мур Дж. 1984. Принципы этики. М. : Прогресс. 326 с.

Мюррей М., Рей М. 2010. Введение в философию религии. М. : ББИ. 410 с.

Ницше Ф. 1997. К генеалогии морали // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Минск : Попурри. 624 с.

Пруцкова Е. 2013. Религиозность и ее следствия в ценностно-нормативной сфере // Социолог. журн. № 2. С. 72-88.

Толстой Л.Н. 1956. Религия и нравственность // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М. : Гос. изд-во худож. лит. Т. 39. С. 3-26.

Фома Аквинский. 2012. Сумма теологии. Т. 4. М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ». 688 с.

Adams R. 1987. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. New York : Oxford Univ. Press. 288 p.

Asad T. 2003. Formations of the Secular Christianity, Islam, Modernity. Stanford, Calif. : Stanford Univ. Press. 269 p.

Cavanaugh W. 2009. The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford ; New York : Oxford Univ. Press. 296 p.

Chaves M. 2010. Rain Dances in the Dry Season: Overcoming the Religious Congruence Fallacy // J. for the Scientific Study of Religion. Vol. 49 (1). P. 1-14.

Diener P. 1997. Religion and Morality: An Introduction. Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press. 122 p.

Durkheim E. 1961. Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education. New York : The Free Press. 287 p.

Finke R., Adamczyk A. 2008. Cross-National Moral Beliefs: The Influence of National Religious Context // The Sociological Quarterly. № 49. P. 617-652.

Fitzgerald T. 2003. The Ideology of Religious Studies. New York : Oxford Univ. Press. 296 p.

Gervais W. et al. 2017. Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists / Gervais W., Xygalatas D., McKay R., van Elk M., Buchtel E., Aveyard M., Schiavone S., Dar-Nimrod I., Svedholm-Häkkinen A., Rieki T., Kundtová Klocová E., Ramsay J., Bulbulia J. // Nature Human Behaviour. № 1 (0151). DOI: 10.1038/s41562-017-0151

Laborde C. 2014. Three approaches to the study of religion [Электронный ресурс]. URL: <https://tif.ssrc.org/2014/02/05/three-approaches-to-the-study-of-religion/> (дата обращения: 15.04.2015).

Laborde C. 2017. *Liberalism's Religion*. Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press. 350 p.

Masuzawa T. 2005. *The Invention of World Religions*. Chicago : Univ. of Chicago Press. 384 p.

Simpson A., Rios K. 2016. How do U.S. Christians and Atheists Stereotype one another's Moral Values? // *The International Journal for the Psychology of Religion*. Vol. 26, № 4. P. 320-326. DOI: 10.1080/10508619.2016.1167419

Slone J. 2007. *Theological Incorrectness: Why Religious People Believe What They Shouldn't*. Oxford ; New York : Oxford Univ. Press. 176 p.

Strenski I. 2004. The proper object of the study of religion: why it is better to know some of the questions than all of the answers // *The Future of the Study of Religion : proceeding of Congress 2000* / ed. by S. Jakelic and L. Pearson. Lieden ; Boston, MA : Brill. P. 145-171.

Taylor Ch. 2007. *A Secular Age*. Harvard : Harvard Univ. Press. 851 p.

Tillich P. 1967. *Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology*. New York : Harper & Row. 252 p.

Zuckerman P. 2012. Contrasting Irreligious Orientation: Atheism and Secularity in the USA and Scandinavia // *Approaching Religion*. № 2 (1). P. 8-20



E. Stepanova. *Religiya i moral': paradoksy vzaimozavisimosti* [Religion and morality: paradoxes of interdependence], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 21–39. (in Russ.).

Elena A. Stepanova, Doctor of Philosophy, Principal Research Fellow, Institute for Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Principal Research Fellow, Ural Humanitarian Institute, UrFU, Ekaterinburg.

E-mail: eas142@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-2559-3573

Article received 19.11.2017, accepted 15.01.2018, available online 01.07.2018

RELIGION AND MORALITY: PARADOXES OF INTERDEPENDENCE

Abstract. The article examines varieties of the correlation of religion and morality in European and Russian social thought within the Christian paradigm. A diversity of definitions of religion in the research literature is observed; special attention is paid to so-called critical approach that questions the relevance of the very concept of religion due to its dependence on the particular historical-cultural context. The author analyzes some historical types of the interrelation of religion and morality, and draws the following conclusion: its nature is entirely determined by the historical-cultural context in general, and by specific form of Christianity in a given period, in particular. In observing discussion of the correlation of religion and morality in post-Soviet Russia, the author notes radical transformation of the attitude towards religion, and its role in the historical-cultural development of the country. In analyzing practical aspect of the relationship between religion and morality, the author indicates that the link between everyday moral choice and religious beliefs is far from being unambiguous, and illustrates this thesis by examples taken from domestic and foreign research literature.

Keywords: religion, morality, Christianity, secularization, Divine Command Theory, everyday life, context.

References

Adams R. *The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology*, New York, Oxford Univ. Press, 1987, 288 p.

Arutyunova K.R., Agarkov V.A., Aleksandrov Yu.I. *Moral' i religiya: issledovanie moral'nykh suzhdeniy pravoslavnykh khristian i neveruyushchikh lyudey v rossiyskoy kul'ture* [Morality and religion: research of moral judgements of Orthodox Christians and non-believers in Russian culture], *Ekspperimental'naya psikhologiya*, 2016, no. 9 (1), pp. 21-37. Doi: 10.17759/exppsy.2016090103 (in Russ.).

Asad T. *Formations of the Secular Christianity, Islam, Modernity*, Stanford, Calif., Stanford Univ. Press, 2003, 269 p.

Cavanaugh W. *The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict*, Oxford, New York, Oxford Univ. Press, 2009, 296 p.

Chaves M. Rain Dances in the Dry Season: Overcoming the Religious Congruence Fallacy, *J. for the Scientific Study of Religion*, 2010, vol. 49 (1), pp. 1-14.

Diener P. *Religion and Morality: An Introduction*, Louisville, Ky., Westminster John Knox Press, 1997, 122 p.

Durkheim E. *Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*, New-York, The Free Press, 1961, 287 p.

Finke R., Adamczyk A. Cross-National Moral Beliefs: The Influence of National Religious Context, *The Sociological Quarterly*, 2008, no. 49, pp. 617-652.

Fitzgerald T. *The Ideology of Religious Studies*, New York, Oxford Univ. Press, 2003, 296 p.

Gel'fond M. *K voprosu o sootnoshenii morali i religii: istina ili absolyut* [On the issue of the ratio of morality and religion: the truth or absolute?], *Eticheskaya mys'*, Moscow, Institut filosofii RAN, 2013, iss. 13, pp. 90-104. (in Russ.).

Gervais W., Xygalatas D., McKay R., van Elk M., Buchtel E., Aveyard M., Schiavone S., Dar-Nimrod I., Svedholm-Häkkinen A., Rieki T., Kundtová Klocová E., Ramsay J., Bulbulia J. Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists, *Nature Human Behaviour*, 2017, no. 1 (0151). Doi: 10.1038/s41562-017-0151

Gilson E. *Izbrannoe. T. 1. Tomizm. Vvedenie v filosofiyu sv. Fomy Akvinskogo* [Selected Works. Vol. 1. Thomism. Introduction to the philosophy of St. Thomas Aquinas], Moscow, St. Petersburg, Universitetskaya kniga, 1999, 496 p. (in Russ.).

Guseynov A.A. *Bez etiki net filosofii* [There is no Philosophy without Ethics], *Logos*, 2008, no. 1, pp. 239-262. (in Russ.).

Guseynov A.A. *Vozmozhna li moral' (nравstvennost'), nezavisimaya ot religii?* 2006 [Is morality independent from religion possible?], available at: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001043/st000.shtml> (accessed September 12, 2017). (in Russ.).

Kant I. *Religiya v predelakh tol'ko razuma* [Religion within the Limits of Reason Alone], *I. Kant, Traktaty i pis'ma*, Moscow, Nauka, 1980, pp. 78-278. (in Russ.).

Knorre B. *Kategorii «viny» i «smireniya» v sisteme tsennostey tserkovnoprikladskoy subkul'tury* [Categories of “guilt” “humility” in the value system of the church-parish subculture], *A. Agadjanian, K. Rousselet (eds.), Prikhod i obshchina v sovremenom pravoslavii: kornevaya sistema rossiyskoy religioznosti*, Moscow, Ves' Mir, 2011, pp. 317-340. (in Russ.).

Laborde C. *Liberalism's Religion*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 2017, 350 p.

Laborde C. *Three approaches to the study of religion*, available at: <https://tif.ssrc.org/2014/02/05/three-approaches-to-the-study-of-religion/> (accessed April 15, 2015).

- Marx K., Engels F. *Nemetskaya ideologiya* [German ideology], K. Marks, F. Engel's, *Sochineniya*, 2nd ed., Moscow, Politizdat, 1955, vol. 3, pp. 7-453. (in Russ.).
- Masuzawa T. *The Invention of World Religions*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 2005, 384 p.
- Moore G.E. *Printsipy etiki* [Principia ethica], Moscow, Progress, 1984, 326 p. (in Russ.).
- Myrray M., Rea M. *Vvedenie v filosofiyu religii* [An Introduction to the Philosophy of Religion], Moscow, BBI, 2010, 410 p. (in Russ.).
- Nietzsche F.K. *K genealogii morali* [On the Genealogy of Morals], F. Nitsche, *Tak govoril Zaratustra. K genealogii morali*, Minsk, Popurri, 1997, 624 p. (in Russ.).
- Patriarch Kirill of Moscow and all Rus'. *Slovo Svyateyshego Patriarkha Kirilla na zasedanii prezidiuma Rossiyskoy akademii obrazovaniya 11 noyabrya 2009 goda* [Statement of His Holiness Patriarch Kirill at the Meeting of Presidium of Russian Academy of Education, 11 November, 2009], available at: <http://www.patriarchia.ru/db/text/934483.html> (accessed February 22, 2017). (in Russ.).
- Patriarch Kirill of Moscow and all Rus'. *Svoboda i otvetstvennost': v poiskakh garmonii. Prava cheloveka i dostoinstvo lichnosti* [Freedom and Responsibility: A Search for Harmony – Human Rights and Personal Dignity], Moscow, Otdel vneshnikh tserkovnykh svyazey Moskovskogo Patriarkhata, 2008, 161 p. (in Russ.).
- Patriarch Kirill of Moscow and all Rus'. *Vystuplenie Svyateyshego Patriarkha Kirilla na Rozhdestvenskikh parlamentskikh vstrechakh v Sovete Federatsii RF 28 yanvarya 2014 goda* [His Holiness Patriarch of Moscow Statement for the Christmas Parliamentary Meeting in the Federal Assembly of the Russian Federation, January 28, 2014], available at: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3544704.html> (accessed October 6, 2016). (in Russ.).
- Prutskova E. *Religioznost' i ee sledstviya v tsennostno-normativnoy sfere* [Religiosity and its incomes in value-normative sphere], *Sotsiologicheskii zhurnal*, 2013, no. 2, pp. 72-88. (in Russ.).
- Simpson A., Rios K. How do U.S. Christians and Atheists Stereotype one another's Moral Values? *The International Journal for the Psychology of Religion*, 2016, vol. 26, no. 4, pp. 320-326. DOI: 10.1080/10508619.2016.1167419
- Slone J. *Theological Incorrectness: Why Religious People Believe What They Shouldn't*, Oxford, New York, Oxford Univ. Press, 2007, 176 p.
- Strenski I. The proper object of the study of religion: why it is better to know some of the questions than all of the answers, S. Jakelic, L. Pearson (eds.), *The Future of the Study of Religion : proceeding of Congress 2000*, Lieden, Boston, MA, Brill, 2004, pp. 145-171.
- Taylor Ch. *A Secular Age*, Harvard, Harvard Univ. Press, 2007, 851 p.
- Thomas Aquinas. *Summa teologii. T. 4* [Summa Theologica, vol. 4], Moscow, Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2012, 688 p. (in Russ.).
- Tillich P. *Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology*, New York, Harper & Row, 1967, 252 p.
- Tolstoy L.N. *Religiya i npravstvennost'* [Religion and morality], L.N. Tolstoy, *Polnoe sobranie sochineniy*, Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury, 1956, vol. 39, pp. 3-26. (in Russ.).
- Wittgenstein L. *Logiko-filosofskiy traktat* [Logico-Philosophical Treatise], *Filosofskie raboty*, Moscow, Gnozis, 1994, pt. 1, pp. 1-75. (in Russ.).
- Zuckerman P. Contrasting Irreligious Orientation: Atheism and Secularity in the USA and Scandinavia, *Approaching Religion*, 2012, no. 2 (1), pp. 8-20.



Яркова Е.Н. Медиация и нравственная культура общества // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 40–54.

УДК 140

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.4054

МЕДИАЦИЯ И НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА

Елена Николаевна Яркова

доктор философских наук,
профессор Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия.
E-mail: mimus.lena@mail.ru

Материал поступил в редколлегию 22.02.2017 г.

Статья посвящена анализу нравственных аспектов медиации как социально-правового института. Отмечается, что понятие «медиация» в различных направлениях исследований используется для обозначения разных феноменов: в социально-правовых исследованиях оно трактуется в качестве альтернативной судебному разбирательству процедуры урегулирования споров и конфликтов; в культурологических исследованиях интерпретируется как логика культуры, направленная на синтез сложившихся оппозиционных смыслов. Предлагается соединить различные содержательные аспекты понятия «медиация», превратив его в понятие междисциплинарное. Утверждается, что развитие социально-правового института медиации зависит от становления медиации как логики нравственной культуры. Определяется главная цель исследования – поиск точек роста медиации как логики нравственной культуры. В качестве технологии исследования привлекаются методологии идеальной типизации, компаративистики и герменевтики. Выделяются и анализируются три типа нравственной культуры: традиционный, утилитарный (умеренный и развитой) и креативный.

Новизна исследования заключается в следующем выводе: нравственный феномен медиации зарождается в ценностно-смысловом пространстве развитого утилитаризма; помимо этого, в статье эксплицируются предпосылки, катализаторы, механизмы становления данного феномена.

В заключение констатируется, что главной причиной торможения медиационных социально-правовых практик в современном российском обществе является «застревание» его нравственной культуры на установках умеренного утилитаризма, абсолютизирующего либо индивидуальную, либо общественную пользу. Решение этой проблемы автор видит в культивировании на всех уровнях российского общества важнейшего принципа развитого утилитаризма – взаимозависимости индивидуальной, общественной, государственной пользы

Ключевые слова: медиация, нравственная культура, традиционализм, умеренный утилитаризм, развитой утилитаризм, креативизм.

В современном научном и общественно-политическом дискурсе понятие «медиация» чаще используется в значении технологии внесудебного и досудебного разрешения споров, урегулирования корпоративных, финансовых, семейных и т.д. конфликтов. Подобного рода технология достаточно основательно разработана и продолжает разрабатываться, однако в этих изысканиях есть существенный пробел. Он касается нравственных аспектов медиации. Речь идет не столько об этике медиации, профессиональном кодексе поведения медиатора, сколько о нравственной культуре общества, определяющей предрасположенность или непредрасположенность его членов к досудебному и внесудебному примирению и посредничеству.

Нравственный аспект медиационных процессов особенно значим для российского общества, нравственная культура которого является одним из ведущих факторов, сдерживающих массовое распространение социально-правового института медиации. Определение российского общества в качестве «расколотого» давно стало общим местом как в научной, так и в публицистической литературе. Задача предлагаемого вниманию читателя исследования заключается не в том, чтобы еще раз констатировать это печальное обстоятельство, привлекая новые аргументы и примеры, но в том, чтобы наметить пути его устранения.

Как представляется, важным подспорьем в исследовании нравственной культуры в аспекте развития медиации является тот факт, что само понятие «медиация» полидисциплинарно.

В частности, в культурологии понятие «медиация» применяется для обозначения определенной логики развития культуры, суть которой заключается в нацеленности на преодоление сложившихся в культуре оппозиционных смыслов, на формирование смыслового синтеза, «срединной культуры» (Н.А. Бердяев).

Понятие «медиация» в культурологию ввел К. Леви-Стросс, который позиционирует медиацию как выход за рамки присущего архаичному мышлению структурного бинаризма, как механизм разрешения смысловых противоречий путем замены исходной бинарной оппозиции другими – все менее контрадикторными – до полного ее преодоления (Levi-Strauss 1963: 240-280).

Идея экстраполяции понятия «медиация» в сферу изучения нравственной культуры принадлежит А.С. Ахиезеру, который рассматривает медиацию как «срединную культуру ... характеризующуюся отказом от абсолютизации полярностей и максимизацией внимания к их взаимопроникновению, к их существованию друг через друга, что порождает новые смыслы» (Ахиезер 1998: 271).

Идеи А.С. Ахиезера развивает А.П. Давыдов, определяющий медиацию как логику «снятия» сложившихся в культуре оппозиционных смыслов, основу смыслогенеза (Давыдов 2017: 53-59).

А.В. Тихонов репрезентирует медиацию как способ соединения крайностей, разрешения неразрешимых дихотомий, оппозиций (Тихонов 2013: 40).

А.А. Пелипенко понимает медиацию как принцип формирования новых смыслов на основе преодоления исходных смысловых оппозиций и продуктивного смыслового синтезирования (Пелипенко 2016: 26-87).

Вместе с тем в современной социально-гуманитарной науке исследование медиации как логики культуры и как социально-правового института осуществляется изолированно друг от друга, то есть практически не соприкасаясь. Этот факт отмечают, например, С.А. Шамликашвили, О.В. Вечерина: «В России до последнего времени развивались два взаимно непересекающихся направления исследований. Первое – это исследование медиации как эффективной процедуры и особой технологии предупреждения и разрешения конфликтов, альтернативной судебному разбирательству. ... Ко второму направлению относятся исследования медиации как социокультурной категории и институциональных матриц развития двух типов культур – медиационного и инверсионного» (Шамликашвили, Вечерина 2017: 51).

По нашему мнению, превращение понятия «медиация» из полидисциплинарного в междисциплинарное открывает некие новые грани проблемы развития медиационных процессов в обществе. В частности, оно делает очевидным то обстоятельство, что для развития медиации как социально-правового института необходимо развитие медиации в качестве логики трансформации культуры.

«Каким образом можно стимулировать развитие медиационной логики в культуре?» – это один из наиболее актуальных вопросов современной культурологии. Следует отметить, что идея, согласно которой существуют медиационные и антимедиационные по своей сути культуры, достаточно широко проработана в различной культурологической литературе. А вот идея, согласно которой существуют промежуточные типы культуры, в рамках которых осуществляется переход от антимедиационности к медиационности, достаточно нетривиальна.

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы показать, как реализуется этот переход, каким образом формируется медиационная логика культуры, дающая простор развитию медиационных практик альтернативного судебному разбирательству урегулирования споров и конфликтов.

Наиболее релевантным средством достижения этой цели мы полагаем методологию идеальной типизации, герменевтики и компаративистики. Выделение идеальных типов нравственной культуры, сравнительная экспликация их содержания дают возможность понять, как формируется феномен медиации как логики развития нравственной культуры.

Во избежание умозрительности мы прибегнем в наших рассуждениях к иллюстративному эмпирическому материалу, почерпнутому из прошлого и настоящего нравственной культуры России и мира.

В целом изучение многообразного исторического, социологического, философского материала, приводить который ввиду ограниченности журнальной статьи не представляется возможным, позволяет все необозримое пространство нравственной культуры человечества свести к трем основ-

ным типам – традиционному, утилитарному и креативному. Рассмотрим их на предмет медиационности, антимедиационности, переходности.

Медиация и нравственная культура традиционного типа. Нравственная культура традиционного типа антимедиационна по своей сути. Определяющей ее характеристикой является понимание высшего блага как Абсолюта – верховного божества или безличного духовного начала. Традиционализм опирается на мировоззренческие позиции космоцентризма или теоцентризма. Моральный закон в таком прочтении предстает воплощением единого, божественного или космического, закона бытия, соответственно моральный долг строго фиксирован, а добродетель толкуется как моральная твердость человека в следовании моральному долгу.

Моральный герой традиционализма – «человек традиционный» – индивид, послушный исполнитель сложившихся нравственных норм. Одним из облигатных его качеств выступает догматизм – безусловное подчинение установленным моральным требованиям, исключаящее их разумное осмысление, рефлексию относительно конкретной ситуации, в которой они применяются, осознание вытекающих из этого последствий. Отсюда произрастает бинаризм традиционной нравственной культуры. «Человек традиционный» делит мир надвое – абсолютное добро и абсолютное зло, абсолютная добродетель и абсолютный порок, идеал и антиидеал. Для него не может быть и речи о какой бы то ни было диалектике должного (сложившихся нравственных норм) и сущего (изменяющейся, усложняющейся реальности), поскольку должное всецело определяет и поглощает сущее. Для него также не может быть и речи о каких-либо промежуточных значениях между абсолютным добром и абсолютным злом; он по определению не приемлет идеи относительности отдельных норм, морального релятивизма. В качестве основного способа нравственного осмысления событий, людей «человек традиционный» использует экстраполяцию – примитивно-лобовой тип мышления, основу которого составляет процедура отнесения тех или иных элементов изменяющейся реальности к неизменным, стереотипным представлениям о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном, этичном и неэтичном. В сущности, экстраполяция есть не что иное, как «втискивание» нового содержания в старые формы – сложившиеся бинарные ценностно-смысловые структуры. Вследствие проблематичности подобной процедуры экстраполяция неотделима от инверсии – «маятникообразной» логики, суть которой заключается в оборачивании – отчуждении от одного полюса оппозиции и партиципации к другому: «...осмысляемое явление может последовательно соотноситься с добром и злом, определяться как воплощение добродетели или, наоборот, порока, идеала и антиидеала и никогда как нечто находящееся между ними» (Ахиезер 1998: 195-199). «Человек традиционный» в силу присущей ему авторитарности, ригоризма, неприятия инакомыслия, нетерпимости к другому мнению даже теоретически не способен к диалогу. Таким образом, традиционная нравственная культура и медиация – вещи несовместные.

В разные времена нравственная культура традиционного типа существовала и на Востоке, и на Западе.

В России во всей полноте форм (обыденной нравственности, морали, этики) она складывается в результате принятия христианства, когда появляется нравоучительная литература, в которой фиксируются те или иные моральные нормы, а несколько позднее формируется этико-философская мысль, где эти нормы получают философско-богословское обоснование. Традиционная нравственная культура в России образуется во многом под влиянием византийской христианской парадигмы – православие задает как общий ценностно-смысловой строй мировоззрения русского человека, так и нормативно-регулятивный порядок, устанавливаемый в русском обществе. В качестве источника нравственных норм в ее рамках полагается Бог, при этом в восточно-христианской духовной традиции утверждается образ потустороннего Бога, закрепленный в догмате об исхождении Духа Святого только от Отца через Сына. Идея потустороннего Бога изначально несла в себе огромный заряд антимедиационности, поскольку исключала саму возможность какой-либо коррекции должного сущим. Религия потустороннего Бога, по словам А.П. Давыдова, «развела Бога и русского человека в разные стороны, одного – на небо, другого – на землю, поставила русского человека на колени перед церковью и государством, уложила ниц перед традицией, стала одним из мощных факторов сохранения и укрепления раскола в русской культуре» (Давыдов 1999: 51). Восточную христианскую традицию в целом отличает ярко выраженный бинаризм – представление о материальном мире как творении дьявола, а о духовном – как творении Бога. Нравственным коррелятом бинарной оппозиции «небесное – земное» в традиционном российском нравственном сознании была оппозиция «правда – кривда»: «Правда пошла на небеса, / К самому Христу, Царю небесному; / А Кривда пошла у нас по всей земле, / По всей земле по свет-Русской, / По всему народу христианскому» (Клибанов 1977: 13). Примат должного и презрение к сущему были связаны, сверх того, с общей эсхатологической сосредоточенностью православия, восприятием земного существования человека как краткого пролога к жизни вечной.

Православная мораль являла собой пример крайнего догматизма. Огромную роль в закреплении этой системы морали сыграл «Домострой» – моральный кодекс, охватывающий жизнь православного христианина от рождения до смерти, подчиняющий его сознание и поведение выработанным веками нормам. Исследователи утверждают, что «Домострой» пресекает медиаторные процессы, табуирует медиацию и медиатора: «И до сих пор в России, при ее поляризованной ментальности, нет традиции компромисса и терпимости...» (Иваницкий 1995: 172).

Отношение к нравственным идеалам как неизменным ориентирам и эталонам проявлялось, например, в писательском ремесле, которое было ориентировано на изображение шаблонных образов. Герои древнерусской литературы делились на две категории – воплощение добродетели «героимученики» и воплощение порока «герои-злодеи». В.О. Ключевский, описы-

вая житийную литературу, констатировал, что «для жития дорога не живая цельность характера с его индивидуальными особенностями... а лишь та сторона, которая подходит под известную норму, отражает на себе известный идеал», «изображения дают лишь “образы без лиц”» (Ключевский 1988: 436). В повседневности это оборачивалось склонностью не только идеализировать тех или иных людей, но и переходить от их идеализации к радикальной антиидеализации. Подобного рода инверсионную логику осмысления действительности демонстрируют русские народные пословицы: «Ерофеич часом дружок, а другим вражок», «Дружба от недружбы близко живет», «Надсаженный конь, надломленный лук да замиренный друг равно не надежны» (Русские пословицы...). Отсутствие медиационности, «срединной культуры» (НА. Бердяев) в характере русского народа и стало причиной превращения раскола в атрибут жизнедеятельности российского общества.

Антимедиационностью «грешило», например, само понимание способов разрешения конфликтов, главным из которых был отнюдь не поиск некоей срединной, примирительной позиции, но выявление «правого и виноватого», «агнцев и козлищ». Вплоть до XVII в. в России существовала традиция «поля» – поединка между частными лицами как способа решения различного рода споров, который вдохновлялся идеей «Бог нас рассудит», «Бог промеж нас будет» (Ключевский 2000: 207).

Разумеется, прецеденты примирения и посредничества в спорах существовали в российском традиционном сословно-иерархическом по своей сути обществе, а таковым Россия де-факто была вплоть до конца XIX в. Однако эти примирение и посредничество опирались не на принципы равноправного диалога, взаимовыгодного консенсуса, а на представления об «урядстве» и «чинности», согласно которым каждый человек должен знать свой «чин» и свое место в общем «ряду», то есть социальном слое общества. Конечно, существовали и иные способы примирения и посредничества. Например, в крестьянской культуре таковым был «мир», сходка крестьянской общины. Тем не менее решения, принимаемые общиной, исходили не из принципа согласования частных и общественных интересов, но из принципа первичности общего интереса и вторичности интересов частных. По свидетельству аналитиков, «решение сходки считалось обязательным для всех, и все беспрекословно ему подчинялись. Это удивляло сторонних наблюдателей: до хрипоты спорили, высказывали разные точки зрения, не соглашались, но как только решение принималось, все успокаивались, как будто оно было единым» (Павловская 2009). Вместе с тем сама идея согласования интересов принадлежит уже другому – нетрадиционному – типу нравственной культуры, ростки которого можно обнаружить, в числе прочего, и в недрах крестьянской общины. Речь идет об утилитаризме.

Медиация и нравственная культура утилитарного типа. Утилитарную нравственную культуру можно рассматривать как антитезу традиционной, актуализация утилитаризма во всей полноте его форм (обыденной нравственности, морали, этики) возникает в результате глобального слома – перехода от традиционализма к принципиально иному, утилитарному

нравственному порядку. Однако в отличие от традиционализма утилитаризм отнюдь не антимедиационен; более того, в его пространстве формируются как ценностно-смысловые предпосылки, так и ценностно-смысловые основания медиации. Определяющей характеристикой нравственной культуры утилитарного типа является понимание высшего блага как пользы человека, общества. Утилитаристский моральный закон получает выражение в формуле «нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку или обществу». Вследствие этого моральный долг не имеет жесткой фиксации: образцы поведения становятся зависимыми от ситуационной пользы, приобретают лабильный характер.

В мировоззренческом плане утилитарная нравственная культура опирается на принципы социоцентризма, антропоцентризма. Все определяется тем, что возводится в ранг высшего блага – польза общества или польза человека. Утилитаризм можно дифференцировать, различая две его формы – умеренный и развитой. Умеренный утилитаризм связан с абсолютизацией либо общественной, либо индивидуальной пользы, развитой – характеризуется стремлением найти некий баланс того и другого.

Понятно, что в большей степени «подтачивает» инверсионную логику культуры развитой утилитаризм, именно он становится почвой для прорастания и развития синтезирующей логики – медиации. Это обусловлено двумя причинами: выдвиганием идеи моральной автономии человека (предоставления ему права самостоятельного определения того, что суть польза и вред, соответственно добро и зло), а также утверждением принципа взаимозависимости, взаимообусловленности индивидуальной и общественной пользы, согласно которому моральным является поведение, руководствующееся правилом согласования интересов различных социальных групп, индивидов и т.д.

Наметим основные катализаторы и механизмы становления медиации в русле развитого утилитаризма.

Во-первых, утилитарное понимание морали способствует ее «десакрализации» – перемещению морального сознания из сферы абсолютного, священного в сферу относительного, мирского. Таким образом устраняется присущая традиционной нравственной культуре пропасть между должным и сущим, более того, допускается возможность коррекции должного сущим. Разумеется, применительно к утилитаризму едва ли можно говорить о диалектике должного и сущего, поскольку опора на принцип пользы подразумевает примат сущего.

Во-вторых, оперируя бинарной оппозицией «польза – вред» утилитаризм, как это ни парадоксально, подтачивает инверсионную логику культуры. Дело, очевидно, в том, что в вопросах собственной пользы каждый сам является судьей, следовательно, любое умозаключение в этом плане носит частный характер. Таким образом, инверсия утрачивает свой глобально-массовый характер, происходят ее измельчание, фрагментация, обусловленные вариативностью понимания пользы и вреда. Отсюда произрастает главная проблема этики развитого утилитаризма – проблема согласования,

уравновешивания различных интересов. А такого рода нацеленность уже можно считать утилитаристской формой «срединной культуры», то есть медиации.

В-третьих, отрекаясь от традиционалистской стратегии руководства стереотипными моральными формулами, утилитаризм переходит к тактике принятия решений относительно правил поведения в той или иной ситуации посредством анализа этой ситуации и поиска оптимального с точки зрения морали пользы поведения. По определению антидогматичная, релятивистская, ситуационная этика и мораль утилитаризма становятся благодатной почвой для становления и развития «срединной культуры», медиации, заполняющей пространство между полярными смыслами; это выражается, скажем, в понимании добра как относительного, ситуационного или, например, в решении следовать по пути наименьшего зла, в убеждении, что «худой мир лучше доброй ссоры», что желание навредить другому оборачивается негативными последствиями для самого себя – «не рой другому яму – сам в нее попадешь».

Конечно, порожденная утилитаристским здравым смыслом «срединная культура» – образование чрезвычайно изменчивое, тем не менее она являет собой утилитаристскую форму медиации, следовательно, открывает пути развития медиации как социально-правового института. Это и понятно, в конечном счете медиация получает распространение в обществе, члены которого способны не только исходить из собственных интересов, но также учитывать интересы контрагентов.

Что касается умеренного утилитаризма, то однобокое понимание добра как только индивидуальной или только общественной пользы в значительно меньшей степени способствует развитию медиации; впрочем, умеренный утилитаризм при определенных условиях можно рассматривать в качестве предпосылки развитого уже потому, что между двумя формами утилитаризма существуют генетические связи.

Необходимо отметить, что утилитаризм, подобно традиционализму, представляет собой исторически достаточно ранний тип нравственной культуры. Однако как целостная нравственно-моральная и этическая система он оформляется достаточно поздно – в эпоху модернизации. К утилитарному типу, безусловно, относятся нововременная западноевропейская буржуазная нравственность и мораль, получившие философское обоснование в творчестве Т. Гоббса, Д. Локка и др. Отличительной особенностью классического утилитаризма И. Бентама и Дж. Ст. Милля является приверженность идеалам развитого утилитаризма. Стержневым принципом классического утилитаризма был принцип взаимозависимости, взаимообусловленности всеобщей и индивидуальной пользы. Реализация частных интересов позиционировалась как единственно эффективный путь реализации всеобщего интереса; всеобщая польза определялась как важнейшее условие и значимый элемент пользы индивидуальной. Конечно, этот принцип требовал дальнейших штудий, что и происходит в этико-философских рефлексиях утилитаризма XX в. В 60-е гг. XX в. утилитарный моральный дискурс расслаивается на два

направления: на «утилитаризм действия», один из последовательных сторонников которого, Дж. Дж. Сартр, полагал, что критерием моральности поступка являются его последствия, связанные с максимизацией совокупной полезности (Smart 1973), и «утилитаризм правила», представитель которого, Р. Брандт, был убежден, что действие является моральным, если оно следует правилу поведения, оправданному принципом полезности (Brandt 1998). В 70–80-е гг. складывается неоутилитаризм, также расслаивающийся на различные течения: на «двухуровневый утилитаризм», создатель которого, Р.М. Хейр, соединяет принципы «утилитаризма действия» и «утилитаризма правила» (Hare 1981), «мировой утилитаризм», один из зачинателей которого, Ф. Фельдман, полагает, что моральным является действие, делающее мир лучше (Feldman 1997), на «стратегический утилитаризм», один из авторов которого, В.Б. Эллис, отдает предпочтение масштабно понимаемой пользе (Ellis 1981) и др. (Eggleston, Miller 2014). Таким образом, западная этико-философская мысль чрезвычайно много внимания уделяла утилитаризму, что способствовало развитию утилитарной нравственности, продвижению медиации как логики развития нравственной культуры и как процедуры внесудебного и досудебного урегулирования споров и конфликтов.

В России актуализация утилитарной нравственной культуры также была связана с активизацией модернизационных процессов в эпоху Петра I. Однако российский утилитаризм носил односторонний – этатистский – характер. Выдвигаемая российскими просветителями В.Н. Татищевым и И.Т. Посошковым идея общей пользы как разумного сочетания пользы человека, общества, государства не нашла заметного отклика в российском обществе. Более того, славянофилы и западники, консерваторы и либералы были единодушны в осуждении утилитаризма как обывательской, филистерской философии. Всеобщая неприязнь к идеалам западного развитого утилитаризма не исключала тяготения к иным его формам. Воплощением умеренного утилитаризма была сублимирующая ценностно-смысловые установки российского крестьянского общинного утилитаризма этика народников Н.Г. Чернышевского, П.Н. Ткачева и др., которая базировалась на идеалах первичности народного блага, редукции частного интереса к общему. Апология коллективизма (общинности) превращала проблему согласования частных интересов в несуществующую, тем самым тормозила становление медиации.

Принцип редукции частного интереса к общему нашел воплощение в «Моральном кодексе строителя коммунизма», марксистско-ленинской этике, значимым элементом которой была теория слияния частного и общественного интересов (Титаренко 1980: 195). Понятно, что принцип слияния интересов снимал саму проблему их урегулирования посредством медиации.

Нравственная культура постсоветской России характеризуется актуализацией умеренного индивидуалистского утилитаризма. На это указывает целый ряд исследователей; например, В.С. Магун, М. Руднев утверждают: «...сдвиг российского общества в сторону конкурентных ценностей индиви-

дуального успеха, власти и богатства был чрезмерным, и установившийся сегодня в обществе баланс между ценностями конкурентного индивидуализма и солидарности не является оптимальным (Магун, Руднев 2008: 75). Еще более определенно характеризует эту ситуацию Ю.В. Осипова: «В начале XXI века массовый утилитаризм в России представлен в умеренной форме... Умеренный утилитаризм с необходимостью должен превратиться в развитую свою форму» (Осипова 2011: 16). Однако приходится признать, что превращение умеренного утилитаризма в развитой, о необходимости которого пишет вышеуказанный автор, пока не произошло, следовательно, на пути развития медиации в России как социально-правового института сложились серьезные препятствия.

Медиация и нравственная культура креативного типа. Креативная нравственная культура медиационна по своей сути, она является продуктом медиации, «срединной культурой» относительно традиционализма и утилитаризма. Нравственный креативизм характеризуется пониманием высшего блага как творчества, которое выступает главной целью, ценностью, воплощением добра. Моральный закон в рамках креативизма – это закон самоорганизации, саморазвития, основным принципом которого становится принцип морального выбора человека. Нравственные нормы креативизма медиативны, они манифестируют «срединную культуру» относительно сложившихся трансцендентных и имманентных, абсолютных и относительных, сакральных и профанных смыслов бытия. С точки зрения креативизма моральные нормы не могут быть сформулированы в виде набора рекомендаций и запретов, они суть порождение человеческого духа, разума как источника морали.

Моральным героем креативной нравственной культуры является «человек творческий» – личность. Креативная нравственная культура диалогична по своей природе, диалогизм составляет ее облигатное свойство и мировоззренческое основание. Принцип диалогизма предполагает отказ от любого рода «центризмов» – космоцентризма, теоцентризма, антропоцентризма, социоцентризма, он само воплощение творческой свободы и ответственности, в процессе которой создается новая ценностно-смысловая реальность, превосходящая действительность, преумножающая бытие, создающая мир. Ставка на диалогизм оказывается наиболее действенным механизмом преодоления конфликтности, расколотости, достижения социального согласия. Теоретически превращение медиации в неотъемлемый атрибут нравственной культуры общества ведет к качественному изменению социальных медиационных практик, что выражается, скажем, в отсутствии потребности в медиаторе.

Если говорить о конкретно-исторических формах креативной нравственной культуры, то элементы таковой можно обнаружить в культуре Античности, Возрождения, Нового времени. Однако, по общему убеждению, футурологов (Ф. Фукуяма, П. Друкер, В.А. Иноземцев и др.), она составляет нравственную основу постиндустриального общества, ключевым ресурсом которого становится человеческий капитал – креативные способности и возможности личности. Автор известной работы «Креативный город»

Ч. Лэндри утверждает, что главным условием творчества является преодоление «привычки мыслить в рамках бинарных оппозиций – барьеров на пути творческого решения проблем» (Лэндри 2011: 28). Автор не менее известной работы «Креативный класс» Р. Флорида определяет креативность преимущественно как способность к синтезу (Флорида 2011: 48).

Философское обоснование креативной нравственной культуры дает Н.А. Бердяев в своей концепции этики творчества: «Только этика творчества впервые преодолевает отрицательную направленность духа, борьбу со злом и грехом прежде всего, и утверждает положительную направленность духа, творчество ценного содержания жизни» (Бердяев 1993: 122).

* * *

В заключение необходимо сделать некоторые выводы, касающиеся, как теоретических, так и эмпирических аспектов представленного вниманию читателю исследования.

Первый. Переходным от антимедиационности и медиационности типом нравственной культуры, по нашему убеждению, является утилитаризм. При этом ключевое звено этого перехода – преодоление умеренного, абсолютизирующего либо индивидуальную, либо общественную пользу утилитаризма и прорыв к утилитаризму развитому, утверждающему принцип взаимообусловленности индивидуальной и общественной пользы.

Второй. Отталкиваясь от реального состояния дел, в качестве основной точки роста медиации как логики нравственной культуры следует рассматривать умеренный утилитаризм, который при определенных условиях может трансформироваться в развитой. Главным таким условием является осознание на всех уровнях социума (правящая, экономическая, интеллектуальная элиты, народные массы) взаимосвязи, взаимозависимости, взаимообусловленности индивидуальной и общественной пользы. Широкую популяризацию и культивирование принципа согласования частного и общественного интересов, его превращение из номинального в реальный можно рассматривать в качестве действенного метода стимулирования положительной динамики нравственной культуры, соответственно, развития медиации как нравственного и социально-правового феномена.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Ахиезер А.С. 1998. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 2. Теория и методология : словарь. Новосибирск : Сиб. хронограф. 594 с.
- Бердяев Н.А. 1993. О назначении человека. М. : Эксмо. 448 с.
- Давыдов А.П. 1999. «Духовной жаждой томим» : А.С. Пушкин и становление «срединной культуры» в России. М. : Экономика. 256 с.
- Давыдов А.П. 2017. Раскол, медиация и социокультурный анализ // Давыдов А.П., Розин В.М. Спор о медиации: раскол в России и медиация как стратегия его преодоления. М. : URSS. С. 38-66.

- Иваницкий В. 1995. Русская женщина и эпоха «Домостроя» // ОНС : Обществ. науки и современность. № 3. С. 161-173.
- Клибанов А.И. 1977. Народная социальная утопия в России. М. : Наука. 335 с.
- Ключевский В.О. 1988. Древнерусские жития святых как исторический источник. М. : Наука. 512 с.
- Ключевский В.О. 2000. Русская история : полный курс лекций. В 2 кн. Кн. 1. М. : АСТ. 1056 с.
- Лэндри Ч. 2011. Креативный город. М. : Издат. дом «Классика-XXI». 400 с.
- Магун В.С., Руднев М. 2008. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами // Европейское социальное исследование: изучение базовых социальных, политических и культурных изменений в сравнительном контексте Россия и 25 стран Европы : аналит. докл. М. : Ин-т сравн. социальн. исслед. С. 66-75.
- Милоков П.Н. 1994. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. М. : Прогресс-Культура. 416 с.
- Осипова. Ю.В. 2011. Утилитарные ценности в контексте современной культуры. Ростов н/Д. 159 с.
- Павловская А.В. 2009. Русский мир: характер, быт и нравы [Электронный ресурс]. URL: http://a_v_pavlovskaya_krestyanskaya_osnova_russkogo_haraktera/krestyanskaya_obvina_i_ee_vliyanie_na_russkij_harakter/ (дата обращения: 23.02.2017).
- Пелипенко А.А. 2016. Контрэволюция. М. : Знание. 240 с.
- Русские пословицы и поговорки для детей [Электронный ресурс]. URL: <http://пословица-поговорка.рф/poslovice/poslovice-o-vragah> (дата обращения: 23.02.2017).
- Титаренко А.И. (ред.) 1980. Марксистская этика : учеб. пособие для вузов / А.И. Титаренко, А.А. Гусейнов, В.И. Бакштановский и др. ; общ. ред. А.И. Титаренко. 2-е изд., перераб., и доп. М. : Политиздат. 352 с.
- Тихонов А.В. 2013. Медиация в проблемном поле социокультурного знания: полидисциплинарный подход : докл. на круглом столе «Медиация как социокультурная категория», Ин-т социологии РАН, 22 февраля 2013 г. Ч. 1 // Филос. науки. № 11. С. 34-49.
- Флорида Р. 2011. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М. : Издат. дом «Классика-XXI». 430 с.
- Шамликашвили С.А., Вечерина О.В. 2017. Медиация в российских исследованиях в зеркале eLibrary // Вестн. федерал. ин-та медиации. № 1. С. 51-74.
- Brandt R.A. 1998. Theory of the Good and the Right / foreword by P. Singer. Rev. ed. Oxford : Prometheus Books. 362 p.
- Eggleston B., Miller D.E. (eds.) 2014. The Cambridge Companion to utilitarianism. Cambridge : Cambridge Univ. Press. 387 p.
- Ellis B. 1981. Retrospective and Prospective Utilitarianism // Nous. Vol. 15, № 3. P. 325-339.
- Feldman F. 1997. Utilitarianism, Hedonism, and Desert: Essays in Moral Philosophy. New York : Cambridge Univ. Press. 220 p.
- Habermas J. 1995. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge : MIT Press. 225 p.
- Hare R.M. 1981. Moral Thinking. Its Levels, Method and Point. Oxford : Clarendon Press. 242 p.
- Levi-Strauss. C. 1963. Structural Anthropology. New York : Basic book. 410 p.
- Smart J.J. 1973. An Outline of a System of Utilitarian Ethics // Smart J.J., Williams B.O. Utilitarianism: For and Against. Cambridge. P. 12-27.



E. Yarkova. *Mediatsiya i nravstvennaya kul'tura obshchestva* [Mediation and moral culture of society], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 40–54. (in Russ.).

Elena N. Yarkova, Doctor of Philosophy, Professor,
Tyumen State University, Tyumen, Russia.
E-mail: mimus.lena@mail.ru

Article received 22.02.2017, accepted 24.04.2017, available online 01.07.2018

MEDIATION AND MORAL CULTURE OF SOCIETY

Abstract. The article is devoted to the analysis of moral aspects of development of mediation as socio-legal institution. It is noted that the term “mediation” in various areas of research refers to different phenomena: in socio-legal research – to alternative trial procedure of settlement of disputes and conflicts; in cultural studies – to the logic of culture, which is focused on the synthesis of current opposition of meanings. It is proposed to synthesize different interpretations of the concept of “mediation” turning it into interdisciplinary one. It is argued that the development of socially legal institute of mediation depends on the formation of mediation as the logic of moral culture. The author defines the main objective of the study – the search for points of mediation’s growth as the logic of moral culture. Technology of the study involves methodology of ideal typing, comparative studies, and hermeneutics. The author distinguishes and analyzes three types of moral culture: traditional, utilitarian (elementary and advanced), and creative. The novelty of the study: it is established that the phenomenon of moral mediation begins in axiological space of advanced utilitarianism; prerequisites, catalysts, and mechanisms of its formation are explicated.

In conclusion, it is stated that the main cause of slowing up mediation practices in contemporary Russian society is “looping” its moral culture on elementary utilitarianism. The solution to this problem is the cultivation of harmony of private and public interests at all levels of Russian society.

Keywords: mediation, moral culture, traditionalism, elementary utilitarianism, developed utilitarianism, creativity.

References

Akhiezer A.S. *Rossiya: kritika istoricheskogo opyta (Sotsiokul'turnaya dinamika Rossii). T. 2. Teoriya i metodologiya : slovar'* [Russia: criticism of historical experience (Sociocultural dynamics of Russia). Vol. 2. Theory and methodology. Dictionary], Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 1998, 594 p. (in Russ.).

Berdyaev N.A. *O naznachenii cheloveka* [On the appointment of a person]. Moscow, Eksmo, 1993, 448 p. (in Russ.).

Brandt R.A. *Theory of the Good and the Right*, rev. ed., Oxford, Prometheus Books, 1998, 362 p.

Davydov A.P. «*Dukhovnoy zhazhdoyu tomim*» : A.S. Pushkin i stanovlenie «*sredinnoy kul'tury*» v Rossii [“Spiritual thirst with design” : Pushkin and the formation of “middle culture” in Russia], Moscow, Ekonomika, 1999, 256 p. (in Russ.).

Davydov A.P. *Raskol, mediatsiya i sotsiokul'turnyy analiz* [Division, mediation and socio-cultural analysis], Davydov A.P., Rozin V.M. *Spor o mediatsii: raskol v Rossii i mediatsiya kak strategiya ego preodoleniya*, Moscow, URSS, 2017, pp. 38-66. (in Russ.).

Eggleston B., Miller D.E. (eds.) *The Cambridge Companion to utilitarianism*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014, 387 p.

Ellis B. Retrospective and Prospective Utilitarianism, *Nous*, 1981, vol. 15, no. 3, pp. 325-339.

Feldman F. *Utilitarianism, Hedonism, and Desert: Essays in Moral Philosophy*, New York, Cambridge Univ. Press, 1997, 220 p.

Florida R. *Kreativnyy klass: lyudi, kotorye menyayut budushchee* [Creative class: people who change the future], Moscow, Izdatel'skiy dom «Klassika-XXI», 2011, 430 p. (in Russ.).

Habermas J. *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge, MIT Press, 1995, 225 p.

Hare R.M. *Moral Thinking. Its Levels, Method and Point*, Oxford, Clarendon Press, 1981, 242 p.

Ivanitskiy V. *Russkaya zhenshchina i epokha «Domostroya»* [Russian woman and the era of "Domostroy"], *ONS : Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*, 1995, no. 3, pp. 161-173. (in Russ.).

Klibanov A.I. *Narodnaya sotsial'naya utopiya v Rossii* [People's social utopia in Russia], Moscow, Nauka, 1977, 335 p. (in Russ.).

Klyuchevskiy V.O. *Drevnerusskie zhitiya svyatykh kak istoricheskiy istochnik* [Old Russian hagiographies as a historical source], Moscow, Nauka, 1988, 512 p. (in Russ.).

Klyuchevskiy V.O. *Russkaya istoriya : polnyy kurs lektsiy. V 2 kn. Kn. 1* [Russian history: a Full course of lectures, in 2 books], b. 1, Moscow, AST, 2000, 1056 p. (in Russ.).

Landry Ch. *Kreativnyy gorod* [The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators], Moscow, Izdatel'skiy dom «Klassika-XXI», 2011, 400 p. (in Russ.).

Levi-Strauss. C. *Structural Anthropology*, New York, Basic book, 1963, 410 p.

Magun V.S., Rudnev M. *Zhiznennyye tsennosti rossiyskogo naseleniya: skhodstva i otlichiya v sravnenii s drugimi evropeyskimi stranami* [Life values of Russian population: similarities and differences in comparison with other European countries], *Evropeyskoe sotsial'noe issledovanie: izuchenie bazovykh sotsial'nykh, politicheskikh i kul'turnykh izmeneniy v sravnitel'nom kontekste Rossiya i 25 stran Evropy : analit. dokl.*, Moscow, Institut sravnitel'nykh sotsial'nykh issledovaniy, 2008, pp. 66-75. (in Russ.).

Milyukov P.N. *Ocherki po istorii russkoy kul'tury. V 3 t. T. 2. Ch. 1* [Essays on the history of Russian culture, in 3 vols.], vol. 2, pt. 1, Moscow, Progress-Kul'tura, 1994, 416 p. (in Russ.).

Osipova. Yu.V. *Utilitarnyye tsennosti v kontekste sovremennoy kul'tury* [Utilitarian value in the context of contemporary culture], Rostov-on-Don, 2011, 159 p. (in Russ.).

Pavlovskaya A.V. *Russkiy mir: kharakter, byt i navy*, 2009 [Russian world: nature, life and customs], available at: http://a_v_pavlovskaya_krestyanskaya_osnova_russkogo_haraktera/krestyanskaya_obwina_i_ee_vliyanie_na_russkiy_harakter/ (accessed 23 February, 2017). (in Russ.).

Pelipenko A.A. *Kontrevolyutsiya* [Counter-evolution], Moscow, Znanie, 2016, 240 p. (in Russ.).

Russkie poslovitsy i pogovorki dlya detey [Russian proverbs and sayings for kids], available at: <http://poslovitsa-pogovorka.rf/poslovicy/poslovicy-o-vragah> (accessed 23 February, 2017). (in Russ.).

Shamlikashvili C.A., Vecherina O.V. *Mediatsiya v rossiyskikh issledovaniyakh v zerkale elibrary* [Mediation in Russian studies in the mirror elibrary], *Vestnik federal'nogo instituta mediatsii*, 2017, no. 1, pp. 51-74. (in Russ.).

Smart J.J. An Outline of a System of Utilitarian Ethics, *Smart J.J., Williams B.O. Utilitarianism: For and Against*, Cambridge, 1973, pp. 12-27.

Tihonov A.V. *Mediatsiya v problemnom pole sotsiokul'turnogo znaniya: polidistsiplinarnyy podkhod : dokl. na kruglom stole «Mediatsiya kak sotsiokul'turnaya kategoriya»*, *In-t sotsiologii RAN, 22 fevralya 2013 g. Ch. 1* [Mediation in the problematic field of socio-cultural knowledge: a multidisciplinary approach: report at the round table “Mediation as a socio-cultural category”, The Institute of sociology, February 22, 2013, pt. 1], *Filosofskie nauki*, 2013, no. 11, pp. 34-49. (in Russ.).

Titarenko A.I. (red.) *Marksistskaya etika : ucheb. posobie dlya vuzov* [Marxist ethics: a textbook for universities], 2nd ed., rev. and augm., Moscow, Politizdat, 1980, 352 p. (in Russ.).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА POLITICAL SCIENCE



Василенко Ю.В. Королевский статут Ф. Мартинеса де ла Росы и становление нового порядка в Испании в первой половине XIX века // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 55–68.

УДК 329.11:329.3

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.5568

КОРОЛЕВСКИЙ СТАТУТ Ф. МАРТИНЕСА ДЕ ЛА РОСЫ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА В ИСПАНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Юрий Владимирович Василенко

кандидат философских наук,

доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Национально-исследовательского университета

«Высшая школа экономики»-Пермь,

г. Пермь, Россия. E-mail: yuvasil@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-7865-6497

Материал поступил в редколлегию 19.12.2017 г.

Становление Нового – либерально-буржуазного – порядка в Испании растянулось почти на полтора столетия, пережив множество «взлетов и падений». Важной вехой в этом процессе является Королевский статут, написанный выдающимся либеральным консервативом первой половины XIX в. Ф. Мартинесом де ла Росой. Стремясь гармонизировать либеральную Свободу и традиционалистский Порядок, Мартинес занимает позицию между леворадикальными либералами (прогрессистами) и традиционалистами. Однако в условиях либерально-буржуазной революции и первой карлистской войны устойчивый политико-идеологический консенсус между революционерами и консервативными реакционерами оказывается невозможным. Стараясь обеспечить выживаемость декларируемой конституционной монархии, Мартинес был вынужден пойти на тактический союз с умеренными традиционалистами, что

вызвало в его адрес шквал критики слева. Разбалансировка политической системы привела к отмене Королевского статута и новому революционному циклу, в котором Мартнес занимает уже определенно консервативную позицию.

Ключевые слова: Королевский статут, либеральный консерватизм, Мартинес де ла Роса, Испания XIX в.

Становление Нового порядка, о какой бы эпохе ни шла речь, всегда требует определенного политико-институционального оформления. В истории западной цивилизации со времен римского права политико-институциональный порядок – это еще и юридический вопрос. На уровне формальной логики может быть три подхода к подобного рода оформлению: 1) революционный, порывающий полностью с прошлым; 2) антиреволюционный (или традиционалистский), настаивающий на воспроизводстве (или реставрации после победы над революцией) традиционных политических институтов; 3) центристский, занимающий компромиссную позицию между двумя обозначенными по формуле «Традиция и Инновация». При этом наибольшей степени накала достигает борьба между революционерами и традиционалистами, принимая иногда формы прямого вооруженного противостояния. Центристский же проект на их фоне обладает наибольшей спецификой и уязвимостью, поскольку подвергается нападкам одновременно с обеих сторон; центристами недовольны и революционеры, считающие центристов традиционалистами; и традиционалисты, считающие центристов революционерами. При этом в рамках самого центристского проекта может содержаться множество вариаций в зависимости от той или иной склонности его авторов к Традиции или Инновации и соответственно идейно-ценностной близости к традиционалистам или революционерам. Из подобного сплава в XIX в. вырастает постепенно то явление, которое в дальнейшем все с большей определенностью, даже за пределами англосаксонского мира, начинает называться «либеральным консерватизмом».

Если же в качестве предмета нашего исследования мы возьмем испанский кейс, аргументируя наш выбор общей социально-экономической отсталостью Испании и крайне медленным развитием в этой стране в XIX–XX вв. модернизационных процессов, то, как представляется, идеально-типическим центристским политико-институциональным проектом будет Королевский статут, написанный в 1834 г. авторским коллективом во главе с Ф. Мартинесом де ла Роса. Исторически данный документ претендовал на то, чтобы стать главной альтернативой Кадисской – классической либерально-буржуазной – Конституции 1812 г., и во многом предопределил специфику всего переходного периода в Испании от Старого порядка к Новому как либерально-буржуазному.

Уроженец Гранады Франсиско де Паула Мартинес де ла Роса Бердехо Гомес-и-Арройо (1787–1862), вошедший в историю Испании не только как политик и дипломат, но и как поэт и драматург (Плавский 1978: 162-167; Martínez de la Rosa 1835; Menéndez y Pelayo 1882; Seco Serrano 1962), является выдающимся представителем центристской фракции либерально-консервативного крыла партии «модерадос» («умеренных либералов») и

во многих отношениях одним из ярчайших олицетворений всей испанской политики первой половины XIX в. со всеми ее противоречиями. Начав свою политическую карьеру почти под самым занавесом Кадисских кортесов (в 1813 г.) в рядах так называемых «либеральных патриотов», отказавшихся сотрудничать с французскими оккупантами, Мартинес уже во времена «либерального трехлетия» (1820–1823) становится Председателем правительства; он один из первых представителей своего поколения «досеанистов» («либералов 1812 года»), старавшихся наладить конструктивные отношения с преследовавшим либералов королем-традиционалистом Фернандо VII, на тот момент вынужденным лавировать между либерально-буржуазной революцией и традиционалистской реакцией. Вернувшись после смерти короля из очередной ссылки, Мартинес как автор Королевского статута превращается в Испании в одного из главных архитекторов Нового порядка, обеспечивая на ближайшую историческую перспективу относительную устойчивость и стабильность переходного политического режима во главе с королевой-регентшей Марией Кристиной. Сотрудничая в дальнейшем долгие годы с генералом Р.М. Нарваэсом-и-Кампосом в качестве его ближайшего советника, Мартинес – подобно Ф.П.Г. Гизо во Франции – посредством установления «либеральной диктатуры» пытается предотвратить наступление либерально-буржуазной революции 1848–1849 гг., но по мере усиления «протоавторитарных» тенденций в политике своего «шефа» порывает с ним. Сместившись несколько влево, Мартинес в конце своей жизни оказывается в рядах новой парламентской коалиции – в центристском «Либеральном союзе» во главе с генералом Л. О`Доннелем-и-Хорисом, – коалиции, представителям которой в течение почти целого десятилетия (вторая половина 1850-х – начало 1860-х гг.) удавалось относительно успешно реализовывать компромиссные идеи, взгляды и ценности, сформулированные на тот момент одновременно несколькими политическими силами: слева – разочаровавшимися после нескольких неудачных попыток революционных выступлений леворадикальными либералами (прогрессистами), а справа – представителями левой фракции либерально-консервативного крыла партии «модерадос» во главе с их бессменным лидером Х.Ф. Пачеко-и-Гутиерресом Кальдероном.

В середине 1830-х гг. в Испании разворачивается борьба за либеральный «бренд», в результате чего само понятие «либерализм» начинает приобретать все большее количество взаимно пересекающихся и плохо совместимых смыслов: от радикальной, революционной, версии, из которой в дальнейшем вырастет уже социал-демократия, до консервативной, реакционной, на основе которой постепенно будет складываться либеральный консерватизм, или, аутентично, «умеренный либерализм». В этом политико-идеологическом контексте Мартинес, который еще в 1823–1833 гг., находясь по указу Фернандо VII в очередной ссылке, начал работать над доктриной, аналогичной зарождающемуся в те годы в Великобритании и Франции классическому либеральному консерватизму, адаптируя идеи, взгляды и ценности английских либералов и французских «либеральных доктринеров» к испанскому материалу (Díez del Corral 1973: 506-519) (в 1835 г.

эта работа начнет издаваться под общим названием «Дух века» (Martínez de la Rosa 1835)), был, по словам современного испанского историка-конституционалиста из Автономного университета Мадрида Х. Про Руиса, главного представителя левой (социал-демократической) историографии в данном вопросе, «одним из наиболее выдающихся представителей того постреволюционного либерализма, которому сейчас предоставлялась возможность реализовать свой проект в Испании» (Pro Ruiz 2010: 22).

В итоге в 1834 г. – во второй раз в своей жизни – Мартинес становится Председателем правительства. Проблем на тот момент в Испании было более чем достаточно; как пишет выдающийся немецкий историк-испанист первой половины XX в. Э. Шрамм, «хозяйство было в разладе, армия деморализована, а народ истерзан разногласиями и гражданской войной» (Schramm 1936: 62). Подходя к решению всех этих проблем, Мартинес прямо следует логике, изложенной им в «Духе века», и в обычной для себя манере решает руководствоваться английскими и французскими образцами, повторяя, насколько это возможно, опыт пришедшей в 1830 г. к власти орлеанской династии.

Основной смысл деятельности Мартинеса как политического практика в 1830-е гг. будет заключаться в том, чтобы, по его словам, «защитить Свободу и Трон» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 267), в то время как традиционалисты предпочитали защищать Трон, а прогрессисты – Свободу. При этом вооруженное восстание карлистов как потенциально праворадикальных консерваторов стало главной внутривнутриполитической проблемой, с которой столкнулся Мартинес на своем посту, поскольку сторонники дона Карлоса собрали под свои знамена большую часть политически активного традиционалистского лагеря и поставили под угрозу все и без того незначительные на тот момент завоевания либерально-буржуазной революции.

Главным же инструментом в деле построения Нового порядка становится для Мартинеса документ под названием «Королевский статут о созыве Генеральных кортесов Королевства» (Estatuto Real de 1834). Пятистраничный текст статута, написанного Мартинесом (если верить Про Руису, который следует за выдающимся испанским консервативным историком первой половины XIX в. Ф. Кабальеро-и-Моргаэсом (Caballero 1837: XIII)) совместно с его министрами Ф.Х. де Бургосом-и-дель Ольмо и Н.М. Гарелли-и-Баттифором (Pro Ruiz 2010: 24-25) и дарованного королевой-регентшей Марией Кристиной 10 апреля 1834 г., будет действовать всего лишь два года, выполняя функции своеобразной «Недоконституции» или «Протоконституции» (политический кризис 1836 г., спровоцированный армейскими выступлениями в Ла Гранхе, летней резиденции испанских королей, находящейся в 80 км к северу от Мадрида, заставит королеву-регентшу пойти на уступки восставшим и первоначально вновь ввести в действие либеральную Конституцию 1812 г., а затем и принять написанную под диктовку прогрессистов ее несколько переработанную версию – Конституцию 1837 г.). Политико-идеологический характер Королевского статута становится понятным уже из его оценок в историографии: в то время как современный социал-демократ Про Руис называет его «сомнительным сюжетом испан-

ской конституционной истории» (Pro Ruiz 2010: 19), главный критик Мартинеса в лагере традиционалистов Х.Л. Бальмес-и-Урпия упоминает его наравне с другими испанскими Конституциями (Balmes 1926b: 25, 77) и называет «фундаментальным законом» (Balmes 1926b: 75), хотя иногда и отказывается от своего определения (Balmes 1926b: 67).

Королевский статут становится вершиной деятельности Мартинеса как политического идеолога и политического практика зарождающегося в Испании либерального консерватизма. Как пишет выдающийся современный испанский историк К. Секо Серрано, «транзакционистская платформа, артикулированная Мартинесом де ла Роса в его знаменитом Статуте, <была> первой попыткой равновесия между традицией и революцией» (Seco Serrano 1973: 11). Благодаря Королевскому статуту Мартинес войдет в историю в качестве одного из первых лиц испанской политики середины XIX в.; по содержанию Статута будут судить о его идеях, взглядах и ценностях не только современники (Balmes 1926b: 90), но и на протяжении всех последующих столетий (Sosa 1930: 156).

Основная идея Королевского статута заключалась в том, чтобы по возможности гармонично соединить хотя бы находящиеся на тот момент в центре политико-идеологического спектра традиционалистские (защита Алтаря и Трона и сохранение значительного большинства их средневековых привилегий) и либерально-консервативные (с их довольно ограниченным на тот момент участием крупной буржуазии и обуржуазивающейся аристократии в парламентской деятельности) представления о политической системе, догматично исповедуемые сторонниками обеих политических идеологий. При этом Мартинес должен был сделать это так, чтобы удовлетворить по возможности еще и радикалов: прогрессистов слева и карлистов справа, с тем чтобы первые отказались от продолжения революции, а вторые – от вооруженной реакции. Как написал Про Руис, Мартинес должен был «создать текст, который обновил бы мифическую Кадисскую Конституцию и позволил институционализировать режим, приемлемый в равной степени как для либералов, так и для <консерваторов> двора Марии Кристины» (Pro Ruiz 2010: 22).

Содержательно же Королевский статут сводился к следующему. Внешне новые Кортесы задумывались англофилом Мартинесом на английский манер как состоящие из двух палат, однако внутри они имели значительное, хотя и не полное сходство со средневековыми сословно-представительными учреждениями Испании, поскольку были модифицированы в соответствии с испанской политической традицией, представленной в трудах выдающегося испанского специалиста по истории средневековых Кортесов Ф.Х. Мартинеса Марины (Martínez Marina 1813). Так, в Верхней палате под названием «Сословие вельмож королевства» должны были заседать назначаемые королем представители высшего духовенства, гранды Испании, титулованная знать, генералы и адмиралы, крупные земельные собственники и выдающиеся представители среднего сословия (Estatuto Real de 1834). Недостаточно традиционалистский «дух» этих «вельмож», явно разбавленный либеральной буржуазией, заставляет Бальмеса обратить на эту Палату

особое и довольно критическое внимание (Balmes 1926b: 87-140); притом что сама по себе «необходимость собрания епископов в Верхней Палате является (по мнению традиционалиста. – Ю.В.) в Испании необходимостью неоспоримой» (Balmes 1926b: 107). В свою очередь Нижняя палата – «Словие представителей» – предназначалась для представителей крупной буржуазии и состоятельных городских профессионалов как среднего, с точки зрения Мартинеса, класса (для Бальмеса же – «аристократов нового поколения» (Balmes 1926b: 128)), избираемых в ходе открытой процедуры, но при условии соответствия определенному имущественному цензу (6 тыс. реалов годового дохода) (Estatuto Real de 1834). Всего же, что крайне показательно для общеконсервативного духа Статута, в выборах могло принять участие лишь 16 тысяч человек из 12 миллионов, то есть менее 0,15% населения Испании.

Принципиальное различие между двумя Палатами, с точки зрения Бальмеса, заключалось в том, что в Верхней заседают «мудрые и добродетельные», а в Нижней – «наиболее гибкие» (Balmes 1926b: 110). Между тем данное сочетание средневековых социальных групп, исповедующих традиционалистские идеи, взгляды и ценности, с новыми, потенциально и собственно либерально-буржуазными, и было призвано обеспечить равновесие в политическом представительстве Испании, то есть создать подлинную систему сдержек и противовесов и, соответственно, то, что в дальнейшем будет названо либерально-консервативным консенсусом, основанным «на (в понятиях Бальмеса. – Ю.В.) выборе между послушанием Богу и послушанием людям» (Balmes 1926b: 111).

Идя навстречу традиционалистам, Мартинес ограничил обе Палаты в законодательных инициативах: они «могли лишь размышлять о делах, которые им предложит Корона» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 285). При этом, подобно средневековым Кортесам, обе Палаты должны были собираться в том городе, в котором им укажет король, и имели наибольшие полномочия лишь в вопросах налогообложения (Estatuto Real de 1834). Во всех остальных случаях (монополия на законодательную инициативу, созыв и роспуск Кортесов, право накладывать вето на принятые законы, назначение членов Верхней палаты, выбор председателей обеих Палат) последнее слово также всегда оставалось за королем. Председатель правительства и все министры также назначались и отправлялись в отставку исключительно королем (Estatuto Real de 1834). Смягчать данный «протоавторитаризм» было призвано лишь взаимное доверие между королем и членами обеих Палат.

В итоге монархия становилась, а точнее говоря, оставалась главным политическим институтом Испании, обладающим, по факту, всей полнотой власти. Определить характер этой монархии – клерикально-абсолютистская или конституционная – достаточно сложно, тем более что она не являлась в чистом виде ни тем, ни другим. Речь, скорее, идет о некоей переходной форме между ними, что, однако, вполне укладывалось в логику либерально-консервативного консенсуса середины 1830-х гг. Поверхностный же «налет» либерально-буржуазного парламентаризма, довольно неудачно, по мнению Бальмеса, списанного Мартинесом с английской модели (Balmes

1926b: 121-123), послужил лишь прозрачной ширмой для средневекового абсолютизма, стремившегося обеспечить себе исторический континуитет под личиной умеренного либерализма. При этом Бальмес пошел в своей критике еще дальше, обвинив авторов Королевского статута со ссылкой на Мартинеса Марину в том, что они вообще не собирались воссоздавать в Испании английский парламентаризм; их идея была «всего лишь восстановить древние фундаментальные законы» (Balmes 1926b: 131), то есть вернуться в классическое Средневековье, что в конечном итоге выставляло Мартинеса как либерального консерватора вообще в довольно странном свете.

В рамках политико-институциональной модели Королевского статута Мартинес предлагал либеральной буржуазии, по существу, следующую альтернативу. Либо (предпочтительный вариант) сплотиться вокруг «полуконституционной» монархии вообще и фигуры Марии Кристины в частности, то есть выступить пусть даже относительно единым фронтом против карлистов справа, которые изначально отвергали какие-либо социально-политические инновации Нового порядка, и прогрессистов слева. Зная неоднозначную позицию испанской буржуазии в оценке наиболее предпочтительной модели политического развития, мы можем утверждать, что данная альтернатива лишь раскалывала социально-политическую опору Мартинеса как минимум на два лагеря: крупная и частично средняя уходила вправо, то есть в партию «модерадос», а мелкая и частично средняя – влево (в партию прогрессистов). При этом оптимисты из партии «модерадос», жаждущие, как пишет Бальмес, «столь демократического и уравнивающего духа века» (Balmes 1926b: 122), позаимствованного Мартинесом, с одной стороны, в Великобритании (Balmes 1926b: 122), а с другой – из «законов и обычаев других эпох» (Balmes 1926b: 89), могли надеяться на постепенную либерализацию политической системы в пока неопределенном будущем. Либо (вариант, абсолютно неприемлемый для Мартинеса как либерального консерватора) – для тех, кто не мог или не умел ждать, – полностью уйти в либерально-буржуазную революцию и, разрушив насильственными методами существующую политическую систему, постараться построить в Испании новую, пусть и неопределенно на тот момент, какую. В исторической перспективе оба крыла партии «модерадос» (и либерально-консервативное, и традиционалистское), а к концу XIX в. и отказавшиеся от прямого политического насилия умеренные карлисты (традиционалисты) выбрали первый вариант; прогрессисты же и выросшие на их основе к концу XIX в. социал-демократы – второй.

В итоге Мартинес постоянно должен был выступать в двух качествах: как политический идеолог либерального консерватизма и как политический практик при испанском королевском дворе, где хозяйничают более или менее умеренные сторонники Старого порядка. В первом случае Мартинес вынашивает по существу революционные планы по преобразованию всей общественной жизни, однако призывает реализовывать их постепенно, без резких скачков и прямого политического насилия; во втором он склонен соглашаться с умеренными традиционалистами, но исподволь пытается их повести по пути либерально-буржуазной модернизации. В этом контексте

совсем неудивительно, что после принятия Королевского статута в испанском общественном мнении Мартинес приобретает имидж «либерала, который боится свободы» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 288), а официальная «Газета Мадрида», в которой был опубликован текст Статута, прямо называет принципы, изложенные в нем, «консервативными» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 288). В итоге «уже через несколько месяцев его (Статута. – Ю.В.) автор был назван деспотом и сервильным роялистом» (Balmes 1926a: 350).

Критика Королевского статута со стороны испанских политиков была во многом ожидаемой. Так, справа традиционалисты, собравшиеся в Правительственном Совете во главе с Н. де Эредией-и-Бехинесом де лос Риосом, графом де Офалия и принявшие непосредственное участие в обсуждении документа, ожидаемо потребовали обеспечить исторический континуитет с политическими институтами Старого порядка. Защищая интересы Испанской католической церкви, высшей аристократии, генералитета и магистратов, они выступили против превращения документа в подлинную Конституцию (Pro Ruiz 2010: 29-39). Беспокойство традиционалистов предельно точно, на наш взгляд, выразил Бальмес, написав в 1840 г. следующее: «Со Статутом верифицировались происходящие политические изменения; и очень тяжелые, и очень радикальные» (Balmes 1925a: 34). Как «политический социолог» Бальмес увидел, что в Статуте выражаются интересы революционно настроенных социальных низов, к которым, с точки зрения испанской аристократии, принадлежали не только собственно низы, но и все представители либеральной буржуазии вне зависимости от масштабов имеющегося у них капитала.

Сам Бальмес критике Королевского статута уделяет очень много внимания; едва ли какой-либо еще политико-институциональный «проект» (за исключением, естественно, испанских Конституций 1837 и 1845 гг.) этот традиционалист анализировал столь же тщательно, что прямо подтверждает историческое значение этого документа. В частности, к «очень тяжким дефектам» Статута Бальмес относит следующие: выборность депутатов от епископата (Balmes 1926b: 92-93), возможность потери «вельможей» пожизненного достоинства вследствие судебного решения (Balmes 1926b: 93-94), не очень большой возраст (25 лет) и маленькую ренту (200 000 реалов) «вельмож» (Balmes 1926b: 95-97), не определенное заранее количество членов «Сословия вельмож» (Balmes 1926b: 97-99) и крайне широкие критерии для включения в Верхнюю палату незнатных членов, фактически – представителей активно формирующейся крупной буржуазии («личные заслуги и соответствующие обстоятельства») (Balmes 1926b: 99-100). В целом же Мартинес, по мнению Бальмеса, не обеспечивает того «великого блага», на котором для него как традиционалиста крепко стоял весь Старый порядок: «нация конституируется на религии и монархии» (Balmes 1926b: 99). И если в первом случае «безбожность» Мартинеса как либерала является типично традиционалистской оценкой, вопреки неоднократно публично декларированному католицизму, то во втором мы видим, что традиционалисты воспринимают политическую систему Статута, при всех ее ограничениях, как конституционно-монархическую. В идейно-ценностном плане главная

претензия Бальмеса заключается в том, что Мартинес заменяет традиционалистские «Алтарь и Трон» на либерально-консервативные «Свободу и Порядок» (Balmes 1926b: 97-100).

Одновременно – в плане критики слева – прогрессисты потребовали от Мартинеса прямо противоположных действий: усиления либерально-буржуазных свобод, а непосредственно как минимум буквального воспроизводства всего текста Конституции 1812 г. Как пишет Бальмес, «революционеры обвинили их (авторов Королевского статута. – Ю.В.) в предательстве дела свободы» (Balmes 1925b: 234). Так, автор преамбулы к Конституции 1812 г. «Божественный» А. де Аргуэльес Альварес, когда узнал о содержании Статута, воскликнул: «Какое вероотступничество!» (Sosa 1930: 154). Статут показался «системой ультрарестриктивной» (Vorrego 2007: 181) и некоторым представителям левой фракции либерально-консервативного крыла партии «модерадос»; так, А. Боррего Морено утверждал, что «система сеньора Мартинеса де ла Роса является сущностно консервативной, поскольку предполагает использование силы для сдерживания революции и победы над карлизмом» (Vorrego 2007: 83).

«Мартинес де ла Роса, – заключает испанский историк первой половины XX в. Л. де Соса, – продукт эклектический, переходный между двумя противоположными эпохами, был либо притесняем, поскольку казался опасным, абсолютистским правительством, либо оценивался как бесполезный со стороны экзальтированных сторонников либерализма» (Sosa 1930: 10). Тот факт, что Мартинес так и не предпринял ни одной попытки хоть как-то усовершенствовать Королевский статут, говорит не столько о том, что лично он остался документом доволен, сколько о том, что любые попытки усовершенствовать этот проект неизбежно были обречены на неудачу, поскольку хрупкое равновесие между либералами и традиционалистами разрушалось при первом же прикосновении к предложенной им политико-институциональной конструкции. Впрочем, на уровне принципа сам Мартинес дальнейшего совершенствования Статута совсем не исключал: «Цемент заложен, воздвигайте здание» (Balmes 126a: 355), – говорил он депутатам воссозданного им Парламента. Другое дело, что задача, которая, по мнению критиков Статута с обоих флангов, легко решалась в теории, на практике оказывалась неразрешимой: «Теоретическое совершенствование фундаментального закона испанской монархии, – пишет Соса, – не опиралось на наши обычаи и не основывалось на коллективной потребности» (Sosa 1930: 73). В той или иной степени все политические силы в Испании на всем протяжении 1830-х гг. продолжали выступать за бескомпромиссное противостояние друг с другом, ведя к тому времени уже настоящую – первую карлистскую – войну; Мартинес же, оказавшись, как пишет Бальмес, «к сожалению (для себя. – Ю.В.), в первых рядах борьбы» (Balmes 1926b: 90) и стараясь изначально прийти хотя бы к всеобщему политико-институциональному, если не политико-идеологическому, консенсусу, с принятием Статута лишь обострил критические выпады в свой адрес. «Ни с кем не были столь суровы, как с ним» (Balmes 1926b: 90), – пишет даже его критик Бальмес.

Известная политическая ирония заключалась в том, что, вопреки всем ожиданиям испанских либералов, Королевский статут не только не содействовал притеснению либерально-буржуазных свобод, но в определенный момент превратился даже в инструмент их реализации. По мере того как Нижняя палата представителей, не имея никаких властных полномочий, превращалась просто в дискуссионную площадку, настроенную оппозиционно в отношении либерально-консервативного правительства Мартинеса, депутаты все чаще начинали требовать создания, по словам Шрамма, «решительно демократической и парламентской» Конституции, не только содействуя тем самым отмене Статута как закона, который лежал в основе их деятельности (Schramm 1936: 63), но и приближая отставку Мартинеса, предоставившего им все возможности для политической деятельности. Так Мартинес становился жертвой собственного детища, притом что в истории «его (Статута. – Ю.В.) главной ценностью было то, что он начал транзит к режиму конституционной монархии» (Pro Ruiz 2010: 19).

В этом контексте необходимо предоставить слово и самому Мартинесу. Так, выступая в Кортесах, Мартинес говорит, что Статут призван «соединить воедино свободу и славу нации с крепостью и сиянием Трона» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 289). При этом «королевская власть является единственным источником власти и единственной силой, способной гарантировать институтам процветание и длительность существования» (Pro Ruiz 2010: 19). Развивая свою мысль, Мартинес отрицает всякие намеки своих оппонентов, присутствующие и у Про Руиса (Pro Ruiz 2010: 23-24), на сходство между Статутом и Конституционной хартией Людовика XVIII (1814), которая, по словам российского правоведа и философа-неокантианца конца XIX – начала XX в. Б.А. Кистяковского, «являлась результатом не народной воли и учредительных прав нации, а следствием уступок со стороны традиционной монархической власти. Источником ее была монархия; монарх, являвшийся главою государства с незапамятных времен, учреждал ее по своей доброй воле, он дарил ее народу» (Кистяковский 1999: 492-493). В ответ же на ожидаемое утверждение прогрессистов о том, что, согласно самому же Мартинесу, Статут также не является результатом «народной воли и учредительных прав нации», он указывал, что в этом документе Кортесы являются воплощением «свободы и основополагающего обычая Испании» и речь идет не об уступках, а «о полном восстановлении фундаментальных законов Монархии» (Pérez de la Blanca Sales 2005: 289-290).

Так или иначе, Королевский статут Мартинеса, действовавший в 1834–1836 гг., вносит в политико-институциональную историю испанского конституционализма и становление Нового порядка в целом весьма существенный вклад. За написание этого документа и воплощение его в политической практике Мартинес получает из рук королевы-регентши Марии-Кристины «Великий крест Карлоса III».

Противоречивый характер деятельности Мартинеса как политического идеолога и политического практика автоматически отражается и на испанской историографии, которая распадается на три различных на-

правления. В то время как представители первого, состоящего в основе своей из современников-традиционалистов (Бальмес) и правых историков XX–XXI вв. (Соса, Л. Диес дель Корраль, Секо Серрано, П. Перес де ла Бланка Салес), продолжают помещать Мартинеса в контекст становящегося либерального консерватизма первой половины XIX в., представители второго – его соратники по Кадисским кортесам и современники-прогрессисты (Аргуэльес) – отмечают у него явный правый уклон в идейно-ценностной эволюции, неуклонно смещающий его в понятиях эпохи с позиций либерализма (в наших понятиях – либерального консерватизма) на позиции антилиберализма (традиционализма).

Наиболее тонким, с нашей точки зрения, аналитиком в этом контексте оказывается соратник Мартинеса по партии «модерадос» Боррего, который, прекрасно зная «расклады» внутри ее либерально-консервативного крыла, ранее других уловил, что он, ведомый спецификой исторического момента, непосредственно определявшей характер и вектор его политической практики, переживает всего лишь незначительный правый уклон, благодаря чему заметно сближается с представителями традиционалистского крыла партии «модерадос», но остается при этом все-таки либеральным консерватором. К интерпретации Боррего присоединяются и те левые испанские историки XIX–XX вв. (либерал Х.М. Руис Манент (Ruiz Manent 1929: 17) и социал-демократ Про Руис), которым откровенный «протоавторитаризм» Мартинеса, непосредственно зафиксированный как минимум в Королевском статуте, также не позволяет признать в нем чистого либерального консерватора. Тот факт, что к интерпретации Боррего частично присоединяется и главный современный специалист по Мартинесу позитивист Перес, лишь подтверждает тот факт, что эта группа интерпретаторов оказалась к истине ближе других.

В целом же Мартинес входит в историю Испании как один из главных «архитекторов» Нового, либерально-буржуазного, порядка, политическая система которого на философско-мировоззренческом уровне представляла собой предельную гармонизацию (в понятиях XIX в.) либеральной Свободы и традиционалистского Порядка, а на политико-институциональном – либерально-консервативный консенсус между Кортесами как символом Свободы и Коронай как символом Порядка в противовес типично традиционалистской формуле защиты «Алтаря и Трона». Исторически в той или иной степени идейно-ценностными наследниками Королевского статута являются все либерально-консервативные политико-институциональные проекты от «Либерального Союза» середины XIX в. до «Народной партии» конца XX в., в том числе и классический для Испании центристский политико-институциональный проект, созданный в середине 1870-х гг. великим А. Кановасом дель Кастильо.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Кистьяковский Б.А. 1999. Государственное право (общее и русское) : Лекции Б.А. Кистьяковского, читанные в Моск. коммерческом ин-те в 1908/1909 акад. году. СПб. : РХГИ. 800 с.

Плавский З.И. 1978. Испанская литература XVII – середины XIX века. М. : Высш. шк. 293 с.

Balmes J. 1925a. Consideraciones políticas sobre la situación de España // Balmes J. Escritos políticos. Barcelona : Biblioteca Balmes. T. 1: Triunfo de Espartero (mayo de 1840 – mayo de 1842). P. 23-153.

Balmes J. 1925b. Rápida ojeada sobre los principales acontecimientos políticos de Europa desde 1. de agosto de 1841 hasta el fin del mismo año // Balmes J. Escritos políticos. Barcelona : Biblioteca Balmes. T. 1. Triunfo de Espartero (mayo de 1840 – mayo de 1842). P. 195-245.

Balmes J. 1926a. Entrada del Sr. Martínez de la Rosa en el Ministerio // Balmes J. Escritos políticos. Barcelona : Biblioteca Balmes. T. 4: Constitución del primer Ministerio de Narváez (mayo – septiembre de 1844). P. 343-356.

Balmes J. 1926b. Reforma de la Constitución // Balmes J. Escritos políticos. Barcelona : Biblioteca Balmes. T. 4: Constitución del primer Ministerio de Narváez (mayo – septiembre de 1844). P. 19-140.

Borrego A. 2007. De la organización de los partidos en España, considerada como medio de adelantar la educación de la nación, y de realizar las condiciones del gobierno representativo. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 270 p.

Caballero F. 1837. El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia. Madrid : Yenes. 202 p.

Díez del Corral L. 1973. El liberalismo doctrinario. Madrid : Instituto de Estudios políticos. 688 p.

Estatuto Real de 1834 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/49134064215809640303346/> (дата обращения: 12.10.2017).

Martínez de la Rosa F. 1835. Espíritu del Siglo. T. 1. Madrid : Imprenta de don Tomas Jordan. 343 p.

Martínez Marina F. 1813. Teoría de las Cortes, ó Grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812. 3 vols. Madrid : Imprenta de D. Fermin Villalpando.

Menéndez y Pelayo M. 1882. Martínez de la Rosa. Estudio biográfico. Madrid : Compañía de Impresores y Libreros. 60 p.

Pérez de la Blanca Sales P. 2005. Martínez de la Rosa y sus tiempos. Barcelona : Ariel. 495 p.

Pro Ruiz J. 2010. Las Constituciones españolas. Vol. 3. El Estatuto Real y la Constitución de 1837. Madrid : Iustel. 472 p.

Ruiz Manent J.M. 1929. Balmes, la libertad y la Constitución. Madrid : Pueyo. 160 p.

Schramm E. 1936. Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento. Madrid : Espasa-Calpe. 348 p.

Seco Serrano C. 1962. Estudio preliminar // Obras de D. Francisco Martinez de la Rosa. Madrid : Atlas. P. V-CXIII.

Seco Serrano C. 1973. Tríptico carlista. Estudios sobre historia del carlismo. Barcelona : Ariel. 157 p.

Sosa L. de. 1930. Don Francisco Martínez de la Rosa, político y poeta. Madrid : Espasa-Calpe. 255 p.



Yu. Vasilenko. Korolevskiy statut F. Martinesa de la Rosy i stanovleniye novogo poryadka v Ispanii v pervoy polovine XIX veka [Royal statute of F. Martinez de la Rosa and formation of new order in Spain in the first half of the XIX century], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 55–68. (in Russ.).

Yuri V. Vasilenko, Candidate of Philosophy, Senior Lecturer, Department of Humanities, National Research University «Higher School of Economics»–Perm, Perm, Russia. E-mail: yuvasil@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-7865-6497

Article received 19.12.2017, accepted 12.03.2018, available online 01.07.2018

ROYAL STATUTE OF F. MARTINEZ DE LA ROSA AND FORMATION OF NEW ORDER IN SPAIN IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

Abstract. The formation of the New – liberal-bourgeois – order in Spain lasted for almost one and a half century and experienced many «ups and downs». A milestone in this process is the Royal Statute written by an outstanding liberal conservative on the first half of the 19th century F. Martinez de la Rosa. In an effort to harmonize liberal Liberty and traditionalist Order, Martinez takes a position between left-wing liberals (progressists) and traditionalists. However, under the conditions of the liberal-bourgeois revolution and the first Carlist war, a stable political-ideological consensus between revolutionaries and conservative reactionaries was impossible. Trying to ensure the survival of the declared constitutional monarchy, Martinez was forced to make a tactical alliance with moderate traditionalists, which caused a flurry of criticism from the left. The imbalance of the political system led to the abolition of the Royal Statute and a new revolutionary cycle, in which Martinez occupies a definitely conservative position.

Keywords: Royal statute; liberal conservatism; Martinez de la Rosa; 19th century Spain.

References

Balmes J. *Consideraciones políticas sobre la situación de España* [Political considerations on the situation in Spain], *Balmes J. Escritos políticos*, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1925, vol. 1, pp. 23-153. (in Spanish).

Balmes J. *Entrada del Sr. Martínez de la Rosa en el Ministerio* [Entry of Mr. Martinez de la Rosa in the Ministry], *Balmes J. Escritos políticos*, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926, vol. 4, pp. 343-356. (in Spanish).

Balmes J. *Rápida ojeada sobre los principales acontecimientos políticos de Europa desde 1 de agosto de 1841 hasta el fin del mismo año* [Quick glimpse of the main political events in Europe from August 1, 1841 until the end of the same year], *Balmes J. Escritos políticos*, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1925, vol. 1, pp. 195-245. (in Spanish).

Balmes J. *Reforma de la Constitución* [Reform of the Constitution], *Balmes J. Escritos políticos*, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926, vol. 4, pp. 19-140. (in Spanish).

Borrego A. *De la organización de los partidos en España, considerada como medio de adelantar la educación de la nación, y de realizar las condiciones del gobierno representativo*

[About the organization of the parties in Spain considered as a means of advancing the education of the nation and of realizing the conditions of representative government], Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 270 p. (in Spanish).

Caballero F. *El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia* [The Government and the Cortes of the Statute. Materials for its history], Madrid, Yenes, 1837, 202 p. (in Spanish).

Díez del Corral L. *El liberalismo doctrinario* [Doctrinal liberalism], Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1973, 688 p. (in Spanish).

Estatuto Real de 1834 [Royal Statute of 1834], available at: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/49134064215809640303346/> (accessed October 12, 2017). (in Spanish).

Kistyakovskiy B.A. *Gosudarstvennoe pravo (obshchee i russkoe) : Lektsii B.A. Kistyakovskogo, chitannyye v Moskovskom kommercheskom institute v 1908/1909 akademicheskom godu* [State law (general and Russian). Lectures of B.A. Kistyakovskii read at the Moscow Commercial Institute in 1908/1909 academic year], St. Petersburg, RKhGI, 1999, 800 p. (in Russ.).

Martínez de la Rosa F. *Espíritu del Siglo, T. 1* [Spirit of the Century, Vol. 1], Madrid, Imprenta de don Tomas Jordan, 1835, 343 p. (in Spanish).

Martínez Marina F. *Teoría de las Cortes, ó Grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812, 3 vols* [Theory of the Cortes, or Great national juntas of the kingdoms of León and Castilla. Monuments of its political constitution and the sovereignty of the people. With some observations on the fundamental law of the Spanish monarchy sanctioned by the General and Extraordinary Courts and promulgated in Cadiz on March 19, 1812, 3 vols], Madrid, Imprenta de D. Fermin Villalpando, 1813. (in Spanish).

Menéndez y Pelayo M. *Martínez de la Rosa. Estudio biográfico* [Martínez de la Rosa. Biographical study], Madrid, Compañía de Impresores y Libreros, 1882, 60 p. (in Spanish).

Pérez de la Blanca Sales P. *Martínez de la Rosa y sus tiempos* [Martínez de la Rosa and his times], Barcelona, Ariel, 2005, 495 p. (in Spanish).

Plavskin Z.I. *Ispanskaya literatura XVII – serediny XIX veka* [Spanish Literature of the XVII – middle of the XIX century], Moscow, Vysshaya shkola, 1978, 293 p. (in Russ.).

Pro Ruiz J. *Las Constituciones españolas. Vol. 3. El Estatuto Real y la Constitución de 1837* [The Spanish Constitutions. Vol. 3. The Royal Statute and the Constitution of 1837], Madrid, Iustel, 2010, 472 p. (in Spanish).

Ruiz Manent J.M. *Balmes, la libertad y la Constitución* [Balmes, Liberty and the Constitution], Madrid, Pueyo, 1929, 160 p. (in Spanish).

Schramm E. *Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento* [Donoso Cortes. His life and his thought], Madrid, Espasa-Calpe, 1936, 348 p. (in Spanish).

Seco Serrano C. *Estudio preliminar* [Preliminary study], *Obras de D. Francisco Martínez de la Rosa*, Madrid, Atlas, 1962, pp. V-CXIII. (in Spanish).

Seco Serrano C. *Tríptico carlista. Estudios sobre historia del carlismo* [Carlist triptych. Studies on the history of Carlism], Barcelona, Ariel, 1973, 157 p. (in Spanish).

Sosa L. de. *Don Francisco Martínez de la Rosa, político y poeta* [Don Francisco Martínez de la Rosa, politician and poet], Madrid, Espasa-Calpe, 1930, 255 p. (in Spanish).



Володенков С.В. Роль информационно-коммуникационных технологий в современной политике // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 69–86.

УДК 32:316.77

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.6986

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Сергей Владимирович Володенков

доктор политических наук, доцент,

доцент кафедры государственной политики факультета политологии
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия.

E-mail: s.v.cyber@gmail.com

Материал поступил в редколлегию 05.03.2018 г.

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с особенностями влияния технологических трансформаций в информационно-коммуникационной сфере на процессы политического развития, в аспекте изучения и анализа потенциала современных информационно-коммуникационных технологий как инструмента воздействия на общественное сознание. В работе показано, что развитие информационно-коммуникационных технологий в интернет-пространстве существенным образом влияет на содержательные параметры функционирования современных политических режимов, а также способствует эволюции традиционных моделей демократии.

В статье доказывается, что на сегодняшний день формируется такое общество, в рамках которого основной ценностью уже является не сама информация, а коммуникационные технологии и каналы коммуникации. Не информация, но коммуникативные связи и коммуникационные возможности оказываются основной политической ценностью в современном обществе. Политическая информация вне контекста возможностей ее использования в процессах коммуникационного взаимодействия, по мнению автора, теряет свою традиционную ценность. Напротив, основной ценностью, в том числе и политической, сегодня выступает возможность коммуникационного взаимодействия, в связи с чем современные коммуникационные технологии нацелены на создание эффективных глобальных форм коммуникации, новых механизмов коммуникационного взаимодействия.

Политическая стабильность современных политических систем становится напрямую зависимой от информационно-коммуникационного потенциала общественно-политических отношений и эффективности его реализации в актуальной политической практике со стороны государственных и гражданских акторов. Данное обстоятельство предъявляет особые требования к организации и реализации процессов современного политического управления как во внутренней, так и во внешней среде, протекающих на сегодняшний день в условиях активной конкуренции в национальном и глобальном коммуникационных пространствах.

По результатам работы сделан вывод о том, что технологические изменения информационно-коммуникационных технологий в Интернете значимым образом влияют и на функционирование самого общества, и на всю систему политического управления. При этом модели политического управления, предполагающие использование сугубо традиционных средств массовой коммуникации, будут терять свою актуальность и эффективность, объективно замещаясь новыми формами политической коммуникации в сетевом коммуникативном пространстве.

Ключевые слова: постинформационное общество, технологии коммуникации, интернет-пространство, сетевые сообщества, модели демократии.

Технологические изменения в информационно-коммуникационной сфере, появление и интенсивное развитие Интернета во многом предопределили появление нового, информационного, типа общества.

Несмотря на широкие дискуссии об особенностях и перспективах становления информационного общества, все оценки данного феномена имеют общую характеристику – информация является на сегодняшний день одним из ключевых ресурсов современной политической деятельности.

С появлением, развитием и активным распространением Интернета мировое сообщество стало функционировать в условиях глобального коммуникационного пространства, в котором разворачивается общественно-политическая жизнедеятельность.

В связи с этим представляется важным провести политологический анализ актуальной практики использования современных информационно-коммуникационных технологий, а также рассмотреть особенности их влияния на параметры общественного развития, в том числе в аспекте создания нового общественного уклада, а также трансформации процессов и механизмов распределения власти между государством и обществом в современном мире, что является крайне значимым в плане анализа изменения характеристик процесса современного политического управления.

К. Хайн писал: «Мы считаем, что сейчас настал момент для рефлексивного понимания технологического артефакта сети Интернет, которое откроет границы для проведения научных исследований» (Hine 2005).

На сегодняшний день коммуникация охватывает все области социальной действительности и по-новому организует протекающие в этих сферах процессы. Ввиду данного обстоятельства трансформации технологий интернет-коммуникации имеют очевидные следствия, что обусловлено их крайне высокой значимостью как одного из основных ресурсов современных общественных отношений.

Многие специалисты отмечают тот факт, что технологические трансформации в информационно-коммуникационной сфере выступают в качестве мощного фактора, влияющего на общественное развитие (Barber 2003; Innis 2008; Быков, Халл 2011: 151-164; Грачев 2011; Бронников 2015; Быков 2013; Глазунова 2013; Корбат 2013; Никодимов 2014).

По мнению Д. Белла, внедрение и совершенствование технологий передачи и обработки информации позволило говорить о том, что «постиндустриальное общество – это новый принцип социально-технической ор-

ганизации жизни» (Белл 2004: 109), которая характеризуется, прежде всего, увеличением количества и значения информации, а также возрастанием роли информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности людей.

Однако на сегодняшний день подобное понимание особенностей функционирования современного общества представляется нам неполным и требующим более детального изучения. Не случайно ряд специалистов в настоящее время ведет речь о постинформационном обществе, которое не определяется исключительно такой характеристикой, как увеличение объемов информации, доступной для потребления, обмена и использования.

В любом случае мы считаем, что в рамках современного общественного и технологического развития более уместно говорить о начале эпохи функционирования общества, главной отличительной и базовой характеристикой которого является не столько объем генерируемой и распространяемой информации (определяющий компонент общества информационного), сколько наличие принципиально новых технологий и инструментов разноразмерной глобальной коммуникации, самым непосредственным образом влияющих на форматы и особенности информационно-коммуникационного взаимодействия между людьми, группами граждан, обществом и властью.

Кроме того, современные формы технологий интернет-коммуникации меняют и способы информационного потребления, меняя традиционные, сложившиеся на протяжении веков, представления о роли информации в жизни общества.

Как указывал в своей работе Н. Винер, «человек коммуникационный» живет за счет постоянного обмена информацией с внешней средой, который ему жизненно необходим. Так коммуникация становится одной из ключевых ценностей постинформационного коммуникационного общества (Винер 2001).

М. Маклюэн также выдвинул гипотезу о том, что именно коммуникация (а не информация, знания) становится условием создания капитала нового типа – капитала символического, а современная социальная система основана на коммуникации. Данное представление нашло свое выражение в известном утверждении Маклюэна «The medium is the message» (McLuhan 1994).

Однако оговоримся, что мы не относимся к безусловным сторонникам концепции технологического детерминизма, развиваемой в рамках макросоциологии коммуникации Г. Инниса и М. Маклюэна и приобретающей новое звучание в условиях интенсивного развития интернет-пространства, а также теорий интернетоцентризма и киберутопизма. Как справедливо отмечают Ф. Баннистер и А. Гронлунд, «история все время повторяется, и все новые технологии приветствуются как рассвет новой эры» (Bannister, Gronlund 2017).

По нашему мнению, сами по себе технологии без своего концептуального осмысления и соответствующего содержательного наполнения предполагают лишь наличие определенных технологических возможностей и многовариантности потенциальных векторов общественно-политического

развития (при этом само по себе появление каких-либо возможностей во многом зависит от уровня концептуального и содержательного осмысления существующих технологий).

Безусловно, сами по себе технологии коммуникации являются не более чем инструментом, практика и особенности использования которого определяются непосредственно акторами политических процессов. Кроме того, существующий на сегодняшний день уровень технологического развития в информационно-коммуникационной среде приводит к появлению значительного числа угроз и вызовов, которые могут преобладать над декларируемыми возможностями. Например, под видом демократического транзита в интернет-пространстве зачастую осуществляется внешняя информационная агрессия с целью изменения государственной политической системы, а сам Интернет давно не является открытым пространством, несмотря на огромный потенциал глобальной технологической демократизации.

В данном аспекте мы можем поддержать позицию критиков концепции технологического детерминизма, которые, не отрицая роста влияния Интернета на политику в целом, предлагают акцентировать внимание не на технологических, а на содержательных аспектах современной политики. Так, например, Е. Морозов в своей работе отмечает, что «по мере того как будет расти влияние Интернета на политику (и в авторитарных, и в демократических государствах), будет возрастать и стремление забыть о контексте и исходить из того, что предлагает Интернет. Сама по себе Сеть, однако, не предлагает ничего конкретного» (Морозов 2014: 11).

В свою очередь, ряд авторов в своих работах показали, что современные информационные технологии во многих случаях выступают в качестве мифотворческого инструмента, необходимого для продвижения интересов представителей технологической элиты – носителей идеологии технократической идеологии (Ткач 2014; Curran, Fenton, Freeman 2016).

Одним из таких мифов, как справедливо указывает А. Трахтенберг, является представление о том, что внедрение современных информационных технологий формирует возможности рационального управленческого прогресса, создавая основания для дополнительной рациональной легитимации системы государственного управления как передовой, современной, соответствующей запросам общества (Трахтенберг 2017: 43).

С учетом данных замечаний мы считаем необходимым по-иному расставить акценты при описании характеристик современного общества, перенося основной фокус нашего исследования с феномена информации на феномен коммуникации и выдвигая гипотезу перехода общества от информационной парадигмы к парадигме коммуникационной не столько в технологическом, сколько, прежде всего, в содержательном аспекте.

Вызвано это, в первую очередь, тем фактом, что сама коммуникация приобретает самостоятельное смысловое (не технологическое) и политическое значение, влияя на восприятие транслируемой посредством коммуникационных технологий информации.

По сути, объем информации, которую способен переработать человек, ограничен. И на сегодняшний день в условиях высокой конкуренции в ин-

формационном пространстве за право быть замеченным акторы коммуникативного воздействия вынуждены переносить акценты с контента на разработку и использование доступных и удобных механизмов и каналов массовой коммуникации.

Мы можем предположить, что не столько контент сообщения имеет сегодня важность и значение для массовой аудитории, сколько форматы его трансляции и выбранные для передачи контента коммуникационные каналы.

Успешность любого субъекта коммуникации, в том числе и политической, на сегодняшний день, на наш взгляд, определяется преимущественно именно коммуникационными механизмами, а не контентом сообщения.

Очевидно, что подобный перенос акцентов позволяет нам говорить о существовании общества, в рамках которого основной ценностью уже является не сама информация, а коммуникационные технологии и каналы коммуникации. Не информация, но коммуникативные связи и коммуникационные возможности становятся основной политической ценностью в современном обществе.

Политическая информация вне контекста возможностей ее использования в процессах коммуникационного взаимодействия, по нашему мнению, теряет свою традиционную ценность. Напротив, основной ценностью, в том числе и политической, сегодня выступает возможность коммуникационного взаимодействия, в связи с чем современные коммуникационные технологии нацелены на создание эффективных глобальных форм коммуникации, новых механизмов коммуникационного взаимодействия.

Не случайно М. Кастельс рассматривает формирующуюся сегодня глобальную социальную структуру как сетевое общество, важнейшей чертой которого является не доминирование информации, а изменение направления ее использования, в результате чего определяющую роль в жизни человека обретают глобальные сетевые структуры (Castells 2010). По определению М. Кастельса, Сеть – это множество взаимосвязанных узлов (Castells 2010), формирующих глобальную информационную структуру.

М. Кастельс приходит к выводу, что сетевая структура общества ведет к образованию новой формы коммуникации – массовых самокоммуникаций – и с появлением новых технологий любой индивид, имеющий доступ к глобальной Сети, может построить свою собственную информационную систему, используя продукты Интернета и мобильной связи (Castells 2010: 234-269).

Специфика такого рода ресурсов во многом определяет способы информационно-коммуникационного взаимодействия между представителями современного общества, а также форматы потребления информации и коммуникационной активности в глобальном сетевом пространстве. Внедрение и широкое распространение современных интернет-технологий коммуникации уже значительно изменило и подходы к воздействию на общественное сознание в рамках процессов политического управления. Способы и модели политической коммуникации существенным образом трансформировались и продолжают

трансформироваться, что самым непосредственным образом влияет в глобальных масштабах на всю систему современного политического управления, имеющего коммуникативную основу. В первую очередь речь идет об изменениях, касающихся вопросов распределения власти между государством и обществом.

Кроме того, особо следует отметить важнейшие последствия, связанные с изменениями в самом общественном сознании и вызванные тем, что механизмы, принципы и технологии организации и распространения информации непосредственным образом влияют на то, как современный человек воспринимает и познает мир, включая окружающую его политическую реальность (Neuer 1988: 52).

Многие специалисты сегодня отмечают существенные изменения не только в моделях восприятия информации, но и в способах познания. Например, одним из наиболее актуальных феноменов стало так называемое клиповое сознание, свойственное большинству активных пользователей Интернета.

Огромное разнообразие каналов и форматов получения разнообразной информации приводит к отторжению больших текстов и переходу на максимально упрощенные визуализированные форматы подачи информации. И такие тренды активно используются коммуникаторами в своей работе.

В качестве примера мы можем привести формат так называемых демотиваторов, которые стали популярны в интернет-пространстве и позволяют в максимально доступной форме при помощи ярких визуальных образов и примитивных коротких текстов оказывать влияние на общественное сознание интернет-аудитории.

Помимо демотиваторов в рамках использования упрощенных форматов массовой общественно-политической коммуникации также активно используются мемы и хэштеги, которые по своей сути являются инструментами цифровой стигматизации, позволяющими оперативно в удобной и лаконичной форме осуществить интерпретацию любого политического события, явления, процесса.

В российской практике, например, широко известны такие мемы и хэштеги, как «Партия жуликов и воров», «Взбесившийся принтер», «Госдура», «НемцовМост», «КрымНаш» и мн. др. Использование подобного рода цифровых стигматов позволяет сформировать схематичные и при этом устойчивые интерпретационные модели политической реальности для массового пользователя, заинтересованного в получении удобных, простых и ярких объяснительных моделей происходящих вокруг весьма сложных политических событий и явлений.

Не менее распространенным в современной практике массовых политических коммуникаций в интернет-пространстве является формат флешмоба, в рамках которого для выражения своей позиции (как правило, «за» или «против», что уже само по себе является значительным упрощением) пользователю достаточно совершить элементарное действие (использовать определенный хештег, мем или слоган, разместить определенный графический

символ или фотографию и т.д.) для выражения своей гражданской позиции, не предполагающей зачастую хоть какого-либо анализа окружающей политической действительности и формирующейся на основе простейших пропагандистских установок в Сети (Володенков, Федорченко 2015). Самые свежие примеры политического флешмоба в Рунете – «No Russia – No Games!», посвященный теме недопуска российских спортсменов на Зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, и «Сбрей усы себе, а не Груднину!»», основанный на обещании кандидата в Президенты от КИРФ П. Груднина сбрить свои усы.

Безусловно, мы можем сделать вывод о том, что современные интернет-технологии массовой коммуникации самым непосредственным образом влияют в глобальных масштабах на модели восприятия и познания мира, быстрыми темпами трансформируя и изменяя характеристики общественного сознания. По сути, мы переходим от модели «человек разумный» к модели «человек виртуальный».

Глобальный процесс изменения способов коммуникации коренным образом изменяет и само общество: сегодня мы можем наблюдать неуклонную тенденцию дифференциации общества по источникам, технологиям и способам потребления информации, в результате чего формируются две принципиально различные группы людей: потребителей классических СМИ (преимущественно телевидения), получающих готовый информационный продукт и соответствующую информационную повестку дня, а также интернет-пользователей, способных осуществлять самостоятельный отбор и производить критический анализ получаемой информации.

Данной позиции придерживался и авторитетный итальянский ученый У. Эко, считавший, что с 1990-х гг. началось разделение культур аналогично эпохе Средневековья, в которой существовали те, кто мог самостоятельно читать тексты и критически оценивать различные религиозные и научные концепции, а также те, кто потреблял лишь готовые, отобранные и одобренные Церковью образы (Эко 1998).

Российское общество также постепенно дифференцируется по типам источников получения информации и по степени доверия к ним. Если традиционные СМИ – телевидение, пресса и радио – являются основным источником общественно-политической информации для большинства россиян, являющихся сельскими жителями, то проживающие в мегаполисах и крупных городах россияне демонстрируют иную модель информационного потребления: для них основным источником информации выступают интернет-ресурсы, а также окружающие их знакомые люди, к которым можно причислить и членов сетевых сообществ.

Учитывая, что в большинстве случаев именно крупные города являются площадками организации и осуществления политических протестов, а интернет-аудитория, как показывает современная практика, является наиболее политически активной (Быков, Халл 2011) (здесь, по нашему мнению, действует принцип Парето), уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ситуацией, в которой основное влияние на реальные политические процессы будет оказываться со стороны лишь одной из обозначенных двух групп потребления информации.

При этом дифференциация общества будет только нарастать, что повлечет соответствующие общественно-политические и социальные эффекты.

Наблюдаемые сегодня существенные различия в традиционном медиaprостранстве и Интернете в части актуальной информационной повестки дня, тональности освещения и интерпретации политических событий и процессов, обсуждаемой общественно-политической проблематики уже приводят к значительным отличиям в восприятии политической реальности и оценке политической действительности традиционной частью общества и интернет-сообществом (Чугунов 2006).

Здесь уместно вспомнить канадского исследователя Дж. Мейровица, который, объединив анализ электронных средств коммуникации с описанием механизмов социального взаимодействия (Грачев 2011: 166), ввел понятия «псевдособытие» (представленное через СМИ) и «действительное событие» (политическая реальность).

Виртуальные псевдособытия в Интернете и псевдособытия в традиционном медиaprостранстве, на основе которых и формируются представления людей о политической реальности, могут весьма отличаться друг от друга.

Порой такие расхождения становятся существенными, формируя, по сути, две массовые глобальные аудитории, имеющие абсолютно несхожие между собой представления о политических процессах и событиях, что неизбежно ведет к непониманию между представителями данных аудиторий в силу наличия в их сознании принципиально неидентичных псевдореальностей.

Современные процессы информационно-коммуникационной трансформации функционирования общества ведут и к значимым изменениям традиционного общественного уклада. Активизация общественно-политических процессов в интернет-пространстве тесно связана с нарастающей виртуализацией публичной политики, выходом на первый план в качестве инструмента политики искусственно создаваемых виртуальных образов, которые становятся одной из основных форм существования любой политической силы в публичном пространстве.

Один из важных аспектов проблемы – виртуализация реальности для массового пользователя интернет-пространства, в рамках которого формируется отдельная, искусственно сконструированная, реальность, вмещающая в себя множество симулякров, по терминологии Бодрийяра. Данная тенденция является глобальной, и на сегодняшний день представления пользователей Сети о реальном мире носят преимущественно искусственный характер.

Как пишет российский социолог Д. Иванов, «в сети и функционеры политических партий/движений, и работники государственных учреждений, и граждане осуществляют коммуникацию посредством технологии, которая в принципе позволяет вести коммуникацию не в формате партийной организации или бюрократической процедуры... Тем самым в условиях отсутствия реального институционализированного взаимодействия поддерживается образ “действующей организации” или “работающего государства”».

Интенсивная политизация киберпространства наглядно демонстрирует, что новая политика строится на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков избытием образов» (Иванов 2002: 109).

Также весьма интересной представляется позиция известного теоретика информационного общества Ё. Масуда, по мнению которого современное общество становится бесклассовым, а вместо классов появляются информационные сообщества (Masuda 1981: 15-26).

Ё. Масуда предложил модель, в соответствии с которой в основе формирования демократии участия лежат современные информационно-коммуникационные технологии, чем заложил теоретический фундамент концепции электронной демократии, актуальной сегодня (Быков 2005).

Мы консолидируемся с позицией Масуды в аспекте выделения в условиях современного общества информационных сообществ, однако считаем, что более уместно с учетом реалий сегодняшнего дня говорить уже о коммуникационных сообществах, имеющих свои правила, регламенты, форматы потребления информации.

Многие из данных сообществ имеют при этом, вопреки теории Маклюэна о глобальной деревне, тенденцию к закрытости (например, непубличные закрытые группы в Facebook), вызывая новые эффекты в рамках интернет-пространства, изначально позиционирующегося как открытое.

Не случайно М. Кастельс признавал, что развитие коммуникационных систем не соответствует прогнозам М. Маклюэна в полной мере и, «хотя СМИ действительно стали глобально взаимосвязанными, а программы и сообщения циркулируют в глобальной Сети, мы живем не в глобальной деревне, но в построенных по заказу коттеджах, производящихся глобально, а распределяемых локально» (Castells 2010: 327).

Говоря о влиянии сетевых технологий на политические процессы в современном обществе, также необходимо рассмотреть позицию Дж. Нэбита и П. Эбурдин, которые прогнозируют трансформацию современных политических режимов и переход от классической модели представительной демократии к моделям демократии соучастия и совместного действия, что может быть обеспечено посредством внедрения в современную политическую практику интерактивных форм информационно-коммуникационного взаимодействия государства и общества, позволяющих активно включаться в процессы обсуждения и выработки политических решений большим группам населения¹. При этом следует особо отметить возможность организации подобного взаимодействия не только на национальном, но и на глобальном уровне.

¹ В современной российской политической практике также можно найти примеры того, как демократия соучастия постепенно становится инструментом при принятии важных решений. Так, будучи Президентом России, Дмитрий Медведев впервые предоставил возможность любому гражданину страны участвовать в онлайн-обсуждении проекта закона о полиции, в результате чего россияне внесли десятки тысяч поправок и замечаний в проект, который был доработан экспертами по результатам всенародного обсуждения в Интернете.

По мнению Б. Барбера, такого рода демократия соучастия, которая должна заменить под влиянием новых информационных технологий представительную форму демократии, значительно снизит роль представительства профессионалов в сфере политики и сделает политическое управление, осуществляемое экспертами и бюрократами, бесполезным (Barber 2003: 118-146), в связи с чем широко обсуждаемая сегодня специалистами концепция экспертной демократии может оказаться неактуальной уже на ранней стадии своего развития.

Следует заметить, что, в противовес позиции Дж. Нэсбит и П. Эбурдин, считающих, что современные технологии коммуникации в значительной мере обеспечивают демократизацию даже в авторитарных системах посредством предоставления членам гражданского общества широких возможностей контроля над собственными правительствами (Нэсбит, Эбурдин 1992: 347), мы полагаем подобный подход в определенной степени спорным, так как современные технологии коммуникации в интернет-пространстве активно используются и самими государствами, в связи с чем оценить соотношение возможностей граждан и власти в плане контроля за действиями друг друга весьма затруднительно; можно предположить, что государство имеет значительно больше возможностей контроля за гражданами в Сети.

Кроме того, ряд экспертов критически относятся к возможностям Интернета в аспекте демократизации общества. И. Быков пишет о том, что Интернет не способен самостоятельно инициировать демократизацию авторитарных режимов. Что же касается электронной демократии, то данная концепция в современной политической практике не доказала своей жизнеспособности ввиду того, что в подавляющем большинстве существующих сегодня демократических режимов активно функционируют институты общественного посредничества, стремящиеся к сохранению своего общественно-политического влияния (Быков 2005).

Говоря о влиянии коммуникационных технологий на политические отношения, необходимо также упомянуть Г. Инниса – одного из основателей Торонтской школы коммуникативистики. В своих работах Иннис показал зависимость политической составляющей государственной системы и общественного развития от типа используемых в конкретном обществе коммуникационных технологий. По мнению Инниса, большинство кардинальных изменений и трансформаций в общественно-политическом устройстве современных государств, а также ключевые характеристики социально-политической структуры общества определяются технологическими особенностями способов и форм коммуникации, осуществляемой в рамках общественно-государственной системы. При этом использование любого типа коммуникации неизбежно сопровождается соответствующими социально-политическими эффектами в таких обществах (Innis 1950; Innis 2008).

Отсюда, по нашему мнению, логично вытекает неизбежность уже в ближайшем будущем глобальных трансформаций в сфере политического управления, связанных с интенсивным развитием коммуникационных интернет-технологий.

Рассматривая представления Инниса с позиций анализа Интернета как современного пространства политических коммуникаций, следует отметить, что подобный подход к пониманию роли средств коммуникации в общественном развитии приводит нас к выводу о высокой вероятности формирования новой архитектуры общественного устройства на основе существующего сегодня информационного общества. Развитие и проникновение интернет-технологий коммуникации в систему функционирования современного государства и общества, согласно логике Инниса, также должно привести к глобальным кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве технологически развитых держав.

Позиции Инниса во многом созвучна и позиция Рональда Дейберта, который, рассуждая о роли политических коммуникаций и их влиянии на современное общество, подчеркивает: «Поскольку коммуникации являются жизненно важной частью человеческого существования, постольку любые изменения в способах коммуникации имеют существенные последствия для распределения власти внутри общества, для изменения индивидуального и социального сознания, а также для пересмотра общественных ценностей» (Deibert 1997: 6).

Учитывая тот факт, что любое политическое управление тесно связано с общественным сознанием и ценностями общества, можно утверждать, что такого рода изменения, о которых говорит Дейберт, самым непосредственным образом определяют и характеристики всей системы современного политического управления.

Мы поддерживаем позицию относительно влияния коммуникационных технологий на характер развития современного общества и общественно-политическое устройство современных государств. Как показывает анализ актуальной политической практики, по мере проникновения интернет-технологий коммуникации в политическое пространство меняются модели и механизмы взаимодействия власти и общества, создаются новые публичные институты, функционирующие на основе современных форм коммуникации (например, институты «Открытых Правительств», онлайн-партии и общественные организации, в том числе экстремистского толка), появляются новые возможности влияния как на представителей власти, так и на политические режимы в целом.

Исходя из представлений Инниса о развитии западной цивилизации по «пространственной» траектории на основе применения соответствующих средств массовой коммуникации, относящихся к «пространственному» типу, мы можем проследить логику эволюции данного типа средств массовой коммуникации до сегодняшнего дня и сделать вывод о том, что информационно-коммуникационные ресурсы в интернет-пространстве являются своего рода средством и инструментом противодействия системному кризису развития западной цивилизации за счет существенного увеличения «пространственности» интернет-технологий массовой коммуникации, обладающих свойством экстерриториальности, необходимым для осуществления внешней экспансии и расширения «империй», о которых писал Иннис, в глобальных масштабах.

При этом интернет-технологии массовой коммуникации в силу своей экстерриториальности предоставляют возможность технологически развитым западным государствам не просто бороться за ту или иную территорию в ее традиционном понимании, а предпринимать попытки доминирования на глобальном уровне, что соответствует теоретическим выводам об ориентированности западных государств на дальнейшее расширение по «милитаристскому» пути, сделанным Иннисом в своих работах, а также подтверждается практикой последних лет.

Представления Инниса о роли коммуникаций в процессе развития цивилизаций и в обеспечении возможностей государства в плане контроля собственных территорий приобретают новое звучание в условиях развития современных коммуникационных интернет-технологий, позволяющих технологически развитым государствам не только контролировать собственные территории, но и активно осуществлять информационно-коммуникационное влияние на другие государства в весьма широких пределах¹.

Принимая во внимание тот факт, что понятие территории, применительно к характеристикам информационно-коммуникационного пространства политики, в современных условиях постепенно трансформируется в виртуальную конструкцию, проблема суверенного существования неготовых к технологическому противостоянию в информационно-коммуникационной сфере государств и обществ приобретает особую актуальность, что акцентирует современную политическую проблематику на вопросах информационного и технологического неравенства государств.

Таким образом, следует констатировать, что изменения информационно-коммуникационных технологий в Интернете значимым образом влияют и на функционирование самого общества, и на всю систему политического управления.

Безусловно, мы не абсолютизируем роль и значение современных интернет-технологий, поскольку на сегодняшний день традиционные каналы коммуникации, а также традиционные формы потребления информации по-прежнему остаются во многом актуальными, на что справедливо указывают многие авторы, критикующие различного рода концепции киберутопизма. Более того, как отмечает А. Трахтенберг, политическое управление выстраивается «с учетом последних достижений технологического прогресса на текущий период, однако при этом базовый тезис о кардинальной трансформации классической “веберовской” системы государственного управления под влиянием информационных технологий остается в неприкосновенности» (Трахтенберг 2017: 44).

Тем не менее при этом очевидным нам представляется тот факт, что модели политического управления, предполагающие использование сугу-

¹ Однако заметим, что у государств-«мишеней» существуют технологические возможности для защиты от информационной агрессии. Кроме того, зачастую представления о степени и характере внешнего влияния могут быть чрезмерно гипертрофированными (например, как в случае с «атакой русских хакеров» и влиянием России на исход выборов в США в 2016 г.).

бо традиционных средств массовой коммуникации, постепенно будут терять свою актуальность и эффективность, объективно замещаясь новыми формами политической коммуникации в сетевом коммуникативном пространстве.

Впрочем, одномоментного замещения одного типа коммуникации другим, по нашему мнению, не произойдет (Песков 2002), в связи с чем субъекты политического управления будут вынуждены при осуществлении глобальных управленческих воздействий ориентироваться одновременно как на традиционную, так и на интернет-аудиторию, проводя интегрированные информационно-коммуникационные кампании, рассчитанные на обе целевые аудитории, имеющие существенные отличия друг от друга уже сегодня.

Следует отметить, что неизбежной представляется трансформация и российского политического пространства, в рамках которого в течение продолжительного времени наблюдалась недооценка потенциала технологий интернет-коммуникации, притом что само гражданское общество в России традиционно существовало в условиях ограниченности политической информации, которая дозированно транслировалась по традиционным вертикальным каналам массовой информации, подконтрольным государству (Овчинников 2002).

На сегодняшний день, исходя из анализа современной зарубежной и российской политической реальности, а также в результате изучения коммуникационных практик, внедряемых в процессы жизнедеятельности современного общества в политической сфере, мы можем сделать вывод о том, что интернет-технологии коммуникации все в большей степени становятся основой информационно-коммуникационного взаимодействия власти и общества в сфере политики и выступают мощным фактором эволюции традиционных моделей общественно-политического устройства в глобальных масштабах. Однако открывается ли при этом новый спектр возможностей для общественно-политического развития либо же мы имеем дело с новыми политическими вызовами и угрозами – данный вопрос является по-прежнему открытым.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Белл Д. 2004. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М. : Academia. 788 с.

Бронников И.А. 2015. Политическое пробуждение в информационном обществе // PoliBook. № 2. С. 33-47.

Быков А.В. 2013. Интернет и демократия – перспективы развития // Вестн. Омск. юрид. акад. № 2 (21). С. 8-11.

Быков И.А. 2005. «Электронная демократия» vs «электронное правительство»: концептуальное противостояние? // ПОЛИТЭКС : Полит. экспертиза. № 3. С. 69-79.

Быков И.А., Халл Т.Э. 2011. Цифровое неравенство и политические предпочтения Интернет-пользователей в России // ПОЛИС : Полит. исслед. № 5. С. 151-164.

Винер Н. 2001. Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и общество // Винер Н. Человек управляющий. СПб. : Питер. 288 с.

Володенков С.В., Федорченко С.Н. 2015. Флэшмоб как сетевая технология современного политического менеджмента (на примере России и США) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та : (электрон. журн.). № 3. С. 1-18.

Глазунова С.А. 2013. Нетократия как социальная практика информационного общества // Вестн. Твер. гос. тех. ун-та. Сер. «Науки об обществе и гуманитар. науки». Вып. 2. С. 20-25.

Грачев М.Н. 2011. Политика: коммуникационное измерение. Тула : Изд-во Тульск. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого. 172 с.

Дмитриев А.В. 2002. Интернет как инструмент политической борьбы: проблемы и перспективы // Вестн. Рос. гос. науч. фонда. № 4. С. 73-81.

Иванов Д.В. 2002. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб. : Петербург. Востоковедение. 224 с.

Кононов М. 2008. Современные информационно – политические технологии в российском избирательном процессе // Власть. № 7. С. 75-78.

Корбат Ф.Е. 2013. Кибер-демократия как развитие информационной политики // Изв. высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Обществ. науки. № 4 (28). С. 17-29.

Морозов Е. 2014. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. М. : АСТ : Corpus. 570 с.

Никодимов И.Ю. 2014. Информационное общество как структурно-функциональный институт политической системы современной России // Историческая и социально образовательная мысль. № 4 (26). С. 193-195.

Нэсбит Дж., Эбурдин П. 1992. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000. М. : Республика. 415 с.

Овчинников Б.В. 2002. Виртуальные надежды: состояние и перспективы политического Рунета // ПОЛИС : Полит. исслед. № 1. С. 45-65.

Песков Д.Н. 2002. Интернет в российской политике: утопия и реальность // ПОЛИС : Полит. исслед. № 1. С. 31-45.

Соленикова Н.В. 2007. Политический Интернет в российских избирательных кампаниях: тенденции развития // ОНС : Обществ. науки и современность. № 5. С. 69-74.

Трахтенберг А.Д. 2017. Идеологический концепт электронного правительства: как работает риторика разрыва? // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 17, вып. 2. С. 41-58.

Чернов А.А. 2003. Становление глобального информационного общества: Проблемы и перспективы. М. : Дашков и К. 232 с.

Чугунов А.В. 2006. Российская Интернет-аудитория в зеркале социологии. СПб. : Изд-во С.-Петербурга. гос. ун-та. 320 с.

Эко У. 1998. «От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст». Отрывки из публичной лекции в МГУ // Новое лит. обозрение. № 32. С. 5-14.

Bannister F., Gronlund A. 2017. E-Government Research: A brief history // Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 4-7 Jan. P. 2943-2952.

Barber B. 2003. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley : Univ. of California Press. 356 p.

Castells M. 2010. The Rise of the Network Society. The Information Age. Economy, Society, and Culture. Oxford : The Wiley-Blackwell. 656 p.

Curran J., Fenton N., Freeman D. 2016. Misunderstanding the Internet. London : Routledge, 234 p.

Deibert R.J. 1997. Parchment, Printing and Hypermedia: Communications in World Order Transformation. New York : Columbia Univ. Press. 334 p.

- Heyer P. 1988. *Communications and History: Theories of Media, Knowledge, and Civilization*. New York : Greenwood Press. 197 p.
- Hine C. 2005. *Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet*. Oxford : Berg Publishers. 256 p.
- Hunt J. 1994. *The Post-Information Society* // *The Virginia Quarterly Review*. Winter. P. 38-50.
- Innis H. 1950. *Empire and Communications*. Oxford : Clarendon Press. 219 p.
- Innis H. 2008. *The Bias of Communication*. Toronto : Toronto Univ. Press. 304 p.
- Masuda Y. 1981. *The information Society as Post-Industrial Society*. Bethesda, MD : World Future Society. 179 p.
- McLuhan M. 1994. *Understanding media: The extensions of man*. Cambridge : MIT Press. 355 p.
- Schramm W. 1964. *Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries*. Stanford : Stanford Univ. Press. 333 p.
- Tkacz N. 2014. *Wikipedia and the Politics of Openness*. Chicago, Mich. : Univ. of Chicago Press. 224 p.



S. Volodenkov. Rol' informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy v sovremennoy politike [The role of information and communication technologies in contemporary politics], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 69–86. (in Russ.).

Sergey V. Volodenkov, Doctor of Political Science, Associate Professor, Faculty of Political Science, Department of Public Policy, Moscow State University, Moscow, Russia. E-mail: s.v.cyber@gmail.com

Article received 05.03.2018, accepted 15.05.2018, available online 01.07.2018

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY POLITICS

Abstract. The article is devoted to the issues related to impact peculiarities of technological transformations in information and communication sphere over the processes of political development. The main aspect is studying and analyzing the potential of contemporary information and communication technologies as an instrument aimed at influencing public consciousness. It is shown that the development of information and communication technologies in the Internet space greatly affects the substantive parameters of functioning of modern political regimes, as well as contributes to the evolution of traditional models of democracy. It is proved that today the society is formed where the main value is no longer the information itself, but communication technologies and channels of communication. Not information, but communication connection and communication capabilities are the primary political value in contemporary society. According to the author, political information outside the context of possibilities of its use in the processes of communication interaction loses its traditional value. In contrast, today the core value including political one is the possibility of communication interaction, in connection with which modern communication technologies are aimed at forming effective global

forms of communication, as well as the creation of new communication mechanisms of interaction.

The political stability of contemporary political systems depends on important factors such as information and communication potential of socio-political relations, and the effectiveness of its implementation in current political practice of both state and civilian actors. Special demands are made on organization and implementation of the processes of contemporary political governance both in internal and external environment, which today takes place in the conditions of active competition in national and global communication space.

The conclusion is made that technological change of information and communication technologies in the Internet in a meaningful way affect both the functioning of the society, and the entire system of political governance. At the same time, political management model, which involves the use of a purely traditional media, will lose its relevance and effectiveness, and objectively would be replaced by new forms of political communication in the network communication space.

Keywords: post-information society; communication technologies; Internet space; network community; models of democracy.

References

Bannister F., Gronlund A. E-Government Research: A brief history, *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences*. Hawaii, 4-7 Jan., 2017, pp. 2943-2952.

Barber B. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley, Univ. of California Press, 2003, 356 p.

Bell D. *Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo: opyt sotsial'nogo prognozirovaniya* [The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting], Moscow, Academia, 2004, 788 p. (in Russ.).

Bronnikov I.A. *Politicheskoe probuzhdenie v informatsionnom obshchestve* [Political awakening in the information society], *PoliBook*, 2015, no. 2, pp. 33-47. (in Russ.).

Bykov A.V. *Internet i demokratiya – perspektivy razvitiya* [Internet and democracy perspectives of development], *Vestnik Omskoy yuridicheskoy akademii*, 2013, no. 2 (21), pp. 8-11. (in Russ.).

Bykov I.A. «Elektronnaya demokratiya» vs «elektronnoe pravitel'stvo»: kontseptual'noe protivostoyanie? [«Electronic democracy» vs «electronic government»: a conceptual confrontation?], *POLITEKS: Politicheskaya ekspertiza*, 2005, no. 3, pp. 69-79. (in Russ.).

Bykov I.A., Khall T.E. *Tsifrovoe neravenstvo i politicheskie predpochteniya Internet-pol'zovateley v Rossii* [Digital inequality and political preferences of Internet users in Russia], *POLIS: Politicheskie issledovaniya*, 2011, no. 5, pp. 151-164. (in Russ.).

Castells M. *The Rise of the Network Society. The Information Age. Economy, Society, and Culture*, Oxford, The Wiley-Blackwell, 2010, 656 p.

Chernov A.A. *Stanovlenie global'nogo informatsionnogo obshchestva: Problemy i perspektivy* [The Emergence of the Global Information Society: Challenges and Prospects], Moscow, Dashkov i K, 2003, 232 p. (in Russ.).

Chugunov A.B. *Rossiyskaya Internet-auditoriya v zerkale sotsiologii* [Russian Internet audience in the mirror of sociology], St. Petersburg, Izd-vo S.-Peterburg. gos. un-ta, 2006, 320 p. (in Russ.).

Corbat F.E. *Kiber-demokratiya kak razvitie informatsionnoy politiki* [Cyber Democracy AS Information Policy Development], *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy*

region. *Obshchestvennye nauki*, 2013, no. 4 (28), pp. 17-29. (in Russ.).

Curran J., Fenton N., Freeman D. *Misunderstanding the Internet*, London, Routledge, 2016, 234 p.

Deibert R.J. *Parchment, Printing and Hypermedia: Communications in World Order Transformation*, New York, Columbia Univ. Press, 1997, 334 p.

Dmitriev A.B. *Internet kak instrument politicheskoy bor'by: problemy i perspektivy* [Internet as an instrument of political struggle: problems and prospects], *Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo nauchnogo fonda (RGNF)*, 2002, no. 4, pp. 73-81. (in Russ.).

Eko U. «Ot Interneta k Guttenbergu: tekst i gipertekst». *Otryvki iz publichnoy leksii v MGU* [«From the Internet to Gutenberg: text and hypertext». Excerpts from a public lecture at Moscow State University], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1998, no. 32, pp. 5-14. (in Russ.).

Glazunova S.A. *Netokratiya kak sotsial'naya praktika informatsionnogo obshchestva* [Netocracy as the social practice of the information society], *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Ser. «Nauki ob obshchestve i gumanitarnye nauki»*, 2013, iss. 2, pp. 20-25. (in Russ.).

Grachev M.N. *Politika: kommunikatsionnoe izmerenie* [Politics: communication dimension], Tula, Izd-vo Tul'sk. gos. ped. un-ta im. L.N. Tolstogo, 2011, 172 p. (in Russ.).

Heyer P. *Communications and History: Theories of Media. Knowledge, and Civilization*, New York, Greenwood Press, 1988, 197 p.

Hine C. *Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet*, Oxford, Berg Publishers, 2005, 256 p.

Hunt J. The Post-Information Society, *The Virginia Quarterly Review*, 1994, winter, pp. 38-50.

Innis H. *Empire and Communications*, Oxford, Clarendon Press, 1950, 219 p.

Innis H. *The Bias of Communication*, Toronto, Toronto Univ. Press, 2008, 304 p.

Ivanov D.V. *Virtualizatsiya obshchestva. Versiya 2.0* [Virtualization of society. Version 2.0], St. Petersburg, Peterburg. Vostokovedenie, 2002, 224 p. (in Russ.).

Kononov M. *Sovremennye informatsionno – politicheskie tekhnologii v rossiyskom izbratel'nom protsesse* [Contemporary information and political technologies in the Russian election process], *Vlast'*, 2008, no. 7, pp. 75-78. (in Russ.).

Masuda Y. *The information Society as Post-Industrial Society*, Bethesda, MD, World Future Society, 1981, 179 p.

McLuhan M. *Understanding media: The extensions of man*, Cambridge, MIT Press, 1994, 355 p.

Morozov E. *Internet kak illyuziya. Obratnaya storona seti* [The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom], Moscow, ACT, Corpus, 2014, 570 p. (in Russ.).

Naisbitt J., *Aburdene P. Chto nas zhdet v 90-e gody. Megatendentsii. God 2000* [What awaits us in the 90s. Megatrends. Year 2000], Moscow, Respublika, 1992, 415 p. (in Russ.).

Nikodimov I.Yu. *Informatsionnoe obshchestvo kak strukturno-funktional'nyy institut politicheskoy sistemy sovremennoy Rossii* [Information society as a structural and functional institution within the political system of the contemporary Russia], *Istoricheskaya i sotsial'no obrazovatel'naya mysl'*, 2014, no. 4 (26), pp. 193-195. (in Russ.).

Ovchinnikov B.V. *Virtual'nye nadezhdy: sostoyanie i perspektivy politicheskogo Runeta* [Virtual hopes: the state and prospects of the political Runet], *POLIS : Politicheskie issledovaniya*, 2002, no. 1, pp. 45-65. (in Russ.).

Peskov D.N. *Internet v rossiyskoy politike: utopiya i real'nost'* [Internet in Russian politics: utopia and reality], *POLIS : Politicheskie issledovaniya*, 2002, no. 1, pp. 31-45. (in Russ.).

Schramm W. *Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries*, Stanford, Stanford Univ. Press, 1964, 333 p.

Solenikova N.V. *Politicheskiy Internet v rossiyskikh izbiratel'nykh kampaniyakh: tendentsii razvitiya* [Political Internet in Russian Election Campaigns: Development Trends], *ONS : Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, 2007, no. 5, pp. 69-74. (in Russ.).

Tkacz N. *Wikipedia and the Politics of Openness*, Chicago, Mich., Univ. of Chicago Press, 2014, 224 p.

Trakhtenberg A.D. *Ideologicheskiy kontsept elektronnoy pravitel'stva: kak rabotaet ritorika razryva?* [E-Government as ideological concept: how does rupture talk function?], *Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk*, 2017, vol. 17, iss. 2, pp. 41-58. (in Russ.).

Volodenkov S.V., Fedorchenko S.N. *Fleshmob kak setevaya tekhnologiya sovremennogo politicheskogo menedzhmenta (na primere Rossii i SShA)* [Flashmob as the network technology of modern political management (for example, Russia and the United States)], *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta : (elektronnyy zhurnal)*, 2015, no. 3, pp. 1-18. (in Russ.).

Wiener N. *Chelovecheskoe ispol'zovanie chelovecheskikh sushchestv: kibernetika i obshchestvo* [Human use of human beings: cybernetics and society], *Viner N. Chelovek upravlyayushchiy*, St. Petersburg, Piter, 2001, 288 p. (in Russ.).



Аничкин Е.С. Фикции в конституционном праве Российской Федерации: особенности, виды, действие // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 87–105.

УДК 34
DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.87105

ФИКЦИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, ДЕЙСТВИЕ

Евгений Сергеевич Аничкин

доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой трудового,
экологического права и гражданского процесса
Алтайского государственного университета,
г. Барнаул, Россия. E-mail: rrd231@rambler.ru

Материал поступил в редколлегию 17.10.2017 г.

Исследуются конституционно-правовые фикции как феномен современной правовой реальности. Правовая фикция представляет собой феномен, при котором вымышленное положение объявляется существующим и приобретает обязательный характер в силу его отражения в нормах права, либо, наоборот, реальное положение признается несуществующим. Отраслевые особенности конституционно-правовых фикций заключаются в том, что они имеют обширное поле действия и затрагивают приоритетные области жизнедеятельности; как правило, отличаются выраженной политической и идеологической направленностью; наблюдаются в особых случаях. К подобным случаям относятся абстрактные правовые понятия, термины, понимание и толкование которых неоднозначно; ситуации, когда конституционно-правовые нормы не получают должной конкретизации и развития в иных нормативных правовых актах; нейтрализация конституционных норм вследствие изменения общественно-политической обстановки; «преобразование» норм Конституции текущим законодательством или решениями Конституционного

Суда РФ (под преобразованием автор понимает изменение, порой существенное, смысла ее отдельных положений без формального вторжения в конституционный текст).

Отдельное внимание уделено классификациям и конкретным проявлениям фикций в конституционном праве Российской Федерации. В зависимости от уровня юридической силы фикции можно подразделять на конституционные и подконституционные; в зависимости от содержания – на материальные, процессуальные и смешанные; в зависимости от продолжительности существования – на статические и динамические; в зависимости от формы выражения – на открытые и скрытые (латентные); в зависимости от отношения к фактическим обстоятельствам – на положительные и отрицательные; в зависимости от институтов конституционного права России – на фикции в основах конституционного строя, правах и свободах человека и гражданина, федеративном устройстве, институте президентства, парламентском праве, законодательном процессе, в местном самоуправлении.

В итоге конституционно-правовые фикции дефинируются как нормативные положения, содержащиеся в Конституции РФ и иных источниках конституционного права, которые признают заведомо несуществующее положение существующим и наоборот, а также имеют отраслевые особенности. Сделан вывод о неоднозначной роли фикций в конституционно-правовом регулировании общественных отношений и о необходимости оптимизации их использования.

Ключевые слова: конституционно-правовая фикция, реальность положений Конституции, фиктивность положений Конституции, правовая жизнь, «преобразование» Конституции.

Современная правовая действительность России чрезвычайно сложна, многообразна и динамична. Тем не менее в ней просматриваются некоторые константы, неотъемлемые свойства. Одним из них является эпизодически наблюдаемое расхождение между писаным правом и правовой реальностью, формальной и фактической сторонами правовой жизни. Наиболее явным проявлением дисгармонии норм права и действительности выступают фикции, встречающиеся в различных отраслях российского права.

Как известно, слово «фикция» происходит от лат. *factio*, то есть выдумка, вымысел. В толковом словаре русского языка фикция определяется как «намеренно созданное, измышленное положение, построение, не соответствующее действительности, а также вообще подделка» (Ожегов, Шведова 2010: 854). Правовая фикция представляет собой явление, при котором вымышленное положение воспринимается как существующее и приобретает обязательный характер в силу его отражения в нормах права либо, наоборот, реальное положение признается несуществующим. Иными словами, фикция проявляется как очевидное несоответствие между правовой нормой и действительностью, когда те или иные юридические последствия нормы права связывают с заведомо ирреальными фактами.

На первый взгляд, фикция совершенно не уместна и даже вредна в юриспруденции, поскольку праву должны быть чужды неточности, неопределенности и тем более вымыслы. Однако развитие общественных отношений и правовая практика вызвали к жизни данный феномен и прочно укоренили его в правовой жизни. В связи с этим уже с XIX в. фикция стала

объектом пристального научного внимания известных ученых того времени – Е.В. Васьковского, Ю.С. Гамбарова, Г.Ф. Дормидонтова, Д.И. Мейера. Традиция исследования фикций была продолжена в советский период такими видными учеными, как С.С. Алексеев, М.Л. Давыдова, В.И. Каминская, А. Нашиц и др. В современной юридической науке проблеме фикций также уделено определенное внимание, свидетельством чему являются труды Е.А. Джазояна, Л.А. Душаковой, О.А. Курсовой, Р.К. Лотфуллина, И.В. Филимоновой.

Сложность и многогранность исследуемой категории обуславливает многообразие точек зрения на природу фикции как правового явления. В этой связи любопытно обобщение подходов к пониманию фикции, проведенное И.В. Филимоновой. Она выделяет семь подходов: 1) классический (традиционный), в рамках которого фикция рассматривается как прием юридической техники, состоящий в признании существующим несуществующего и наоборот; 2) «двойственный», в соответствии с которым фикция воспринимается и как прием юридической техники и как свойство нормы права не соответствовать потребностям общества в процессе правотворческой или правоприменительной деятельности; 3) нормативный, изучающий фикцию как норму права; 4) презумптивный, когда фикция определяется как предположение и ассоциируется с презумпцией; 5) юридико-фактический, согласно которому фикция представляет собой юридический факт; 6) узкоотраслевой, применяемый в криминалистике и уголовном процессе; 7) расширенный (синтетический), рассматривающий фикцию как прием, применяемый при осуществлении различных видов юридической деятельности (Филимонова 2013: 212-213). В рамках настоящей статьи мы придерживаемся классического понимания правовой фикции.

Внешне, текстуально, правовые фикции выражаются словами «считаться», «являться», «как бы», «как если бы», «тождественно» и т.п. Наиболее распространенными объектами фикции являются факты, лица, предметы, территория, время, вид деятельности. По сути, фикция выступает в качестве особого приема юридической техники, позволяющего исключить избыточность правового регулирования, восполнить пробелы в праве, упростить правовое регулирование чрезмерно сложных правовых отношений и в целом оптимизировать нормативную систему. Еще Г. Еллинек справедливо отмечал, что фикция является «вспомогательным средством конструкции, предназначенным к тому, чтобы распространять юридические нормы за пределы их первоначальной цели, смягчать суровость формального права, облегчать доказывание в процессе» (Еллинек 2004: 178). Преимущественно положительно роль фикций в праве оценивают и современные юристы. Так, с точки зрения К.В. Карпенко, «они выражают глубинную, сущностную способность права к саморегулированию и самовоспроизводству»; с помощью фикций «право получает возможность существовать бесконечно долго во времени и пространстве, постоянно перерабатывая самое себя» (Карпенко 2013: 139). Вместе с тем встречается и негативная оценка этого феномена. Так, по мнению Ю.В. Кима, «фикции деформируют гражданское правосознание и “искривляют” государственно-правовое пространство» (Ким 2014: 153). Не вдаваясь в дискуссию о роли фикций в праве, заметим, что эффект

от их использования неоднозначен: в отдельных случаях применение этого приема юридической техники спасает положение, в других – создает дополнительные сложности и снижает эффективность правового воздействия.

Немаловажное значение в правовой жизни России играют конституционно-правовые фикции. Это объясняется не только их сравнительно (с другими отраслями права) слабой изученностью, но и практической значимостью. Фундаментальное положение конституционного права в правовой системе России, наивысший уровень юридической силы положений Конституции РФ как главного источника конституционного права, традиционная условность и ирреальность отдельных положений Основного закона государства, существенная зависимость конституционного права от официальной идеологии и политической ситуации и ряд других обстоятельств создают благоприятную почву для формирования конституционно-правовых фикций и объективно актуализируют данную проблематику. Объясняя сосредоточение в конституционном праве правовых фикций, Ю.В. Ким аргументированно связывает это с природой основного закона государства, который «предстает в качестве своеобразного (и мощнейшего по влиянию на общественное сознание) юридического инструмента, конституирующего политические “мифы” и “легенды” соответствующей эпохи» (Ким 2014: 7).

Следует согласиться с теми исследователями, которые указывают на фиктивность Конституции РФ (Мухачев 1998: 31; Лукьянова 2003: 316-317; Нерсесянц 1998: 389-392). Классификация конституций по критериям «реальные» и «фиктивные» весьма условна, поскольку никакая конституция не может быть в полной мере реальной или в полной мере фиктивной. Следовательно, правильнее вести речь о фиктивности отдельных положений действующей Конституции. Основная предпосылка такой фиктивности, по справедливому мнению В.С. Нерсесянца, состоит в том, что закрепленные в ней правовые начала «по своему социально-историческому смыслу и содержанию характерны для прочно сложившегося буржуазно-демократического строя» (Нерсесянц 1998: 389), который в настоящее время в нашей стране только формируется.

Иногда фиктивность норм конституции возникает из-за отсутствия необходимых условий их реализации (Лучин 2002; Зражевская 1999; Мазуров 2004). Прежде всего, необходимо различать несколько уровней реализации Конституции РФ: реализацию Конституции в целом, реализацию отдельных глав Конституции и реализацию отдельных норм Конституции. В данном контексте мы имеем в виду последний уровень реализации Конституции РФ. При этом реализация норм Конституции РФ дифференцируется в зависимости от вида этих норм. Так, И.П. Ильинский выделял три вида норм Конституции исходя из способа их реализации: программные положения и нормы-принципы, нормы общерегулирующего характера, нормы непосредственно регулирующего действия (Ильинский 1980: 12). Однако более точной представляется позиция И.А. Кравца, выделяющего следующие нормы Конституции РФ в соответствии с механизмом их реализации: самодостаточные нормы, то есть нормы, реализация которых не требует конкретизации в иных нормативных правовых актах; конституционные

провозглашения; нормы, допускающие развитие своих предписаний в текущем законодательстве и бланкетные нормы, которые в обязательном порядке подлежат конкретизации в назывных актах (Кравец 2003: 73–76). Из этого следует, что реализация охватывает подавляющее большинство норм Конституции РФ.

Вместе с тем в процессе реализации возникает ряд препятствий внеправового и правового характера. В частности, к внеправовым препятствиям реализации норм Конституции РФ могут быть отнесены низкий уровень правовой культуры органов власти и населения, сознательное уклонение законодателя от реализации соответствующих норм Конституции РФ, отсутствие необходимых социально-экономических и политических условий. Например, крайне слабо реализуются положения ст. 40 о праве каждого на жилище, ст. 42 о праве каждого на благоприятную окружающую среду, ст. 41, в соответствии с которой «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». К правовым препятствиям «правильной» реализации Конституции РФ относятся, на наш взгляд, неопределенность ее отдельных положений, коллизии некоторых норм Конституции, искажение смысла нормы Конституции в текущем законодательстве. Так, определенным обесцениванием положений ст. 7 Конституции РФ, провозгласившей Россию социальным государством, явилось принятие Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”», – закона, известного как «закон о монетизации льгот», который заменил большинство социальных льгот различным категориям граждан скромными денежными компенсациями и ухудшил тем самым социальное положение многих граждан России (Федеральный закон № 122-ФЗ, 2004). Более того, вопросы вызывает соответствие названного закона положениям ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, согласно которым «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Если основной закон фиктивен, то он не может сохранять длительную стабильность. Иными словами, залог стабильности основного закона состоит в том, что он отличается реальностью, то есть адекватно отражает действительность. В целом стабильность конституции – положительное и желаемое явление. Однако стабильность основного закона имеет и обратную сторону: конституция не должна превращаться в архаичный документ или в акт, оторванный от реальности и устремленный в будущее. Безусловно, планка конституционных ценностей и целей бывает весьма высокой и для того, чтобы к ней приблизиться, необходимо определенное время. Поэтому вполне

обоснованным представляется закрепление в конституции программных положений. Такого рода положения выступают своеобразной гарантией стабильности основного закона. Однако место ориентированных на будущее предписаний в конституции не должно быть значительным, ибо «потенциал закона нельзя считать эффективностью его действия» (Старилов 2005: 7). К тому же реализации «перспективных» положений конституции приходится ждать неопределенно долгое время, что свидетельствует о некоторой фиктивности основного закона.

Фиктивность конституции может быть обусловлена и частой изменчивостью общественных отношений, подвижностью внутренней политики государства. Особенно заметным это становится на примере «жестких» конституций, которые плохо приспособлены для оперативных и в то же время необходимых текстуальных изменений (например, конституции США, Польши, Португалии). Формальная неизменность конституции на фоне динамично развивающейся конституционной практики начинает отдалять основной закон от действительности, ослабляя его регулятивное значение. Конституция может не только игнорировать происходящие в обществе процессы, но и в известной мере препятствовать им. Такое положение становится закономерным в переходные эпохи, когда новый тип общественных отношений еще не сложился, а социальные, экономические и политические структуры еще не укоренились. Следовательно, конституция, принятая в переходный период, в принципе не может отличаться длительной стабильностью. В лучшем случае метаморфозы основного закона выражаются в поправках, а в худшем – завершаются его пересмотром.

Фиктивность конституции представляет собой наиболее очевидное, но не единственное проявление фикций в конституционном праве. В связи с этим возникают вопросы о характерных чертах, видах и конкретных примерах конституционно-правовых фикций. Представляется возможным выделить три отраслевые особенности конституционно-правовых фикций.

Во-первых, конституционно-правовые фикции проявляются в особой сфере, очерченной предметом конституционного права. В силу особой важности общественных отношений, регулируемых конституционным правом, и широты предмета данной отрасли права конституционно-правовые фикции имеют обширное поле действия и затрагивают приоритетные области жизнедеятельности. Главным образом, фикции применяются при регулировании вопросов федерализма, демократии, разделения властей, местного самоуправления, принципов правового положения личности. Масштабностью конституционно-правовых фикций объясняется их более заметное в сравнении с ролью фикций в иных отраслях права влияние на общественное сознание и развитие государства.

Во-вторых, конституционно-правовые фикции «зачастую носят ярко выраженную политическую и идеологическую окраску, выражают определенное мировоззрение, стремления, чаяния граждан, их образований и организаций, народа, общества в целом» (Пяткин 2016: 87). Политико-идеологическая «заряженность» фикций имеет свое объяснение, поскольку производна от политизированности и сильного идеологического импакта самой отрасли права.

В-третьих, в конституционном праве наблюдаются особые случаи действия фикций, следующие определенные ситуации, свидетельствующие о фиктивности конституционно-правовых норм.

А) Средой обитания фикций являются абстрактные правовые понятия, термины, понимание и толкование которых отличается дискусионностью и неоднозначностью. Как правило, у таких понятий отсутствуют легальные определения, не детализированы правовые признаки, что обуславливает их смысловую подвижность в зависимости от складывающейся конъюнктуры. В частности, к числу таких понятий относятся «государство», «демократия», «суверенитет», «справедливость», «свобода», «достоинство», «гражданское общество», «федерализм».

Б) С высокой степенью вероятности можно утверждать, что индикатором фиктивности являются ситуации, когда определенные конституционно-правовые нормы не получают должной конкретизации и дополнения (например, в нижестоящих по юридической силе актах) либо «обездвижены» отсутствием необходимого механизма реализации, организационных институтов, финансовых средств, гарантий правовой защиты и т.п. Иными словами, фиктивность конституционно-правовых норм вызывается незавершенностью и неполноценностью правового регулирования. Например, в течение 23 лет не реализуются нормы Конституции РФ, предусматривающие принятие федерального конституционного закона об изменении статуса субъекта РФ (ч. 5 ст. 66), федерального конституционного закона о Конституционном Собрании (ч. 2 ст. 135), а также федерального закона о статусе Совета Безопасности РФ (п. «ж» ст. 83). Только спустя девять лет после принятия Конституции РФ была принята в отдельном федеральном законе норма о праве граждан на альтернативную гражданскую службу (ч. 3 ст. 59) (Федеральный закон № 113-ФЗ, 2002). Лишь в 2001 г. с принятием Уголовно-процессуального кодекса были реализованы конституционные положения об исключительно судебных решениях по вопросам ареста, заключения под стражу и содержания под стражей (ч. 2 ст. 22).

В отдельных случаях фиктивность вызвана футуристичностью самой нормы Конституции, ее оторванностью от реалий общественной жизни. В действующей Конституции с момента ее принятия содержались основополагающие положения с весьма отдаленной перспективой реализации. К числу таковых могут быть отнесены, в частности, нормы, характеризующие Российскую Федерацию в качестве правового (ч. 1 ст. 1) и социального (ст. 7) государства.

В) Развитие нашей страны, особенно в первые годы XXI в., придало фиктивный характер ряду других норм российской Конституции. В настоящее время мало общего с действительностью имеют нормы Основного закона о разграничении посредством договоров компетенции между федеральными и региональными органами государственной власти (ч. 3 ст. 11), о республике как государстве в составе РФ (ч. 2 ст. 5), о существовании сферы остаточного ведения субъектов РФ (ст. 73), об осуществлении исполнительной власти в Российской Федерации Правительством РФ (ч. 1 ст. 110) и др.

Так, усиление центростремительных тенденций во внутрифедеративных отношениях ослабило самостоятельность субъектов РФ и укрепило их зависимость от федерального центра. В этих условиях обнажились недостатки вертикальных внутрифедеративных договоров, в связи с чем федеральный центр взял курс на аннулирование действующих и ограничение появления новых договоров. Названная перспектива была подтверждена Президентом РФ в его Послании Федеральному Собранию 2001 г. В нем глава государства особо подчеркнул, что определение конкретных полномочий центра и субъектов РФ в рамках их совместной компетенции должно осуществляться «именно федеральными законами и прежде всего федеральными законами» (Послание Президента РФ, 2001). Легальная основа свертывания договорного процесса была заложена в ст. 26.7 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (в редакции от 4 июля 2003 года) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Согласно закону заключение внутрифедеративных вертикальных договоров возможно только в случае, «если это обусловлено экономическими, географическими и иными особенностями субъекта Российской Федерации, и в той мере, в которой указанными особенностями определено иное, чем это установлено федеральными законами, разграничение полномочий» (Федеральный закон № 184-ФЗ, 1999: 26.7). Из этого следует, что, во-первых, установлен приоритет федерального закона по отношению к договору, во-вторых, возможности субъектов РФ по заключению договоров оказались значительно сужены, поскольку не каждый из них в состоянии обосновать необходимость заключения подобного договора. В результате изменения политической практики оказались нейтрализованы положения ч. 3 ст. 11 Конституции РФ, предусматривающие разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов посредством соответствующих договоров. Очевидно, что потенциал одной и той же нормы Конституции РФ (ч. 3 ст. 11) проявился по-разному в зависимости от изменения политического курса на соответствующем этапе развития страны.

В отношении положения Конституции РФ об осуществлении исполнительной власти в Российской Федерации Правительством РФ конституционное законодательство и конституционная практика демонстрируют активную роль Президента РФ в формировании Правительства РФ, установлении его структуры, прекращении деятельности и, главное, акцентируют непосредственное подчинение главе государства отдельных федеральных органов исполнительной власти в области обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, в вопросах предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вследствие изменения общественно-политической обстановки закономерны трудности в реализации подобных норм-фикций вплоть до невозможности их правоосуществления.

Г) Конституционно-правовые фикции обнаруживают себя в случаях «преобразования» норм Конституции текущим законодательством или ре-

шениями Конституционного Суда РФ. (Под «преобразованием» Конституции РФ мы понимаем изменение, порой существенное, смысла ее отдельных положений без формального вторжения в конституционный текст.) (Аничкин 2010: 153). «Преобразованная» норма получает новое прочтение и начинает жить второй жизнью, воспринимается не в буквальном первоначальном виде, а в том контексте, который формируется посредством развивающихся норм Конституции РФ федеральных конституционных законов, федеральных законов, постановлений и определений Конституционного Суда РФ. Собственно норма Основного закона приобретает фиктивный характер, поскольку в своем изначальном смысловом варианте перестает существовать.

Когда конституция отличается подлинной стабильностью, вероятным и оптимальным вариантом ее развития становится адекватная (то есть не порождающая нарушений) реализация конституционных положений в текущем законодательстве и решениях правоприменительных органов. Если же неизменность конституции искусственно поддерживается верховной властью, то такая стабильность является только внешней. В условиях, когда стабильность конституции начинает мешать общественному развитию, а ее отдельные нормы оказываются нежизнеспособными, рано или поздно встает вопрос о внесении в конституцию поправок и даже ее пересмотре. Переходным этапом между адекватной реализацией конституции и ее текстуальными изменениями является «преобразование» основного закона. Зачастую «преобразование» выступает показателем отдаленности некоторых норм конституции от действительности и одновременно способом ослабления их фиктивности. Именно такой гибкий, промежуточный путь развития российской Конституции наблюдается в современный период. Другими словами, Конституция РФ, сохраняя формальную стабильность, фактически начинает ее утрачивать. Следовательно, стабильность Конституции РФ приобретает мнимый, декоративный характер. Использование такого варианта развития Основного закона, как «преобразование», позволяет ослабить фиктивность формальной Конституции РФ и в то же время усилить ее адекватность фактической конституции. В этой связи следует согласиться с мнением Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, согласно которому нашу Конституцию как богатейшую кладовую неярких знаний «следует не править, а интерпретировать» (Корня 2004: 3).

«Преобразование» раскрывается в особых юридико-технических приемах, представляющих собой своего рода инструментарий нетекстуальной модификации Конституции РФ. На наш взгляд, к их числу могут быть отнесены следующие: 1) ограничение первоначального смысла нормы; 2) расширение первоначального смыслового объема нормы; 3) искажение подлинного смысла нормы, вплоть до его выхолащивания (например, путем изменения характера предписаний нормы); 4) фактическое дополнение нормы в результате обнаружения скрытого в ней смысла; 5) заполнение пробела в Основном законе и, как следствие этого, фактическое создание новых конституционных норм, внедрение новых правовых понятий; 6) «восполнение» конституционной нормы путем насыщения конкретным содержанием абстрактных понятий и юридических конструкций;

7) нейтрализация нормы Основного закона в результате вытеснения ее «преобразованной» нормой или вследствие долговременного отсутствия практики ее реализации (так называемые мертвые нормы). В этом плане «преобразование» представляет собой своеобразный инструментарий отклонения от нормативно заданной реализации Конституции РФ. Конституционная норма может «преобразовываться» одновременно с помощью нескольких совместимых приемов (например, путем расширения буквального смысла нормы и ее фактического дополнения).

Примером «преобразования» Конституции РФ путем ограничения буквального смысла содержащегося в ней понятия может служить Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Он принят на основе ч. 2 ст. 65 Конституции РФ, в которой установлено, что «принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом». Буквальное понимание термина «образование» в данном контексте позволяет вести речь, по крайней мере, о таких случаях, как объединение субъектов РФ, разделение субъекта РФ на два и более новых субъекта РФ, выделение одного субъекта РФ из состава другого. Однако согласно ч. 1 ст. 5 закона «образование в составе Российской Федерации нового субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих между собой субъектов Российской Федерации» (Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ, 2001). Как видно, законодатель уравнил по смыслу понятия «образование» и «объединение», хотя первое понятие по смыслу более широкое.

Или другой пример. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» Суд модифицировал положения ч. 4 ст. 125 Конституции РФ путем придания им обязывающего характера. Согласно данным положениям Конституционный Суд по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Разъясняя это правило, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» указал на то, что суды могут обращаться в Конституционный Суд России (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8, 1995). Последний сформулировал иное правило: «Суд общей юрисдикции или арбитражный суд, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации федерального закона или закона субъекта Российской Федерации, не вправе применить его в конкретном деле и обязан обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона» (п. 2 резолютивной части Постановления от 16 июня 1998 г. № 19-П) (Постановление Конституционного Суда РФ № 19-П, 1998). Из сказанного следует, что нейтральная по характеру предписаний норма сначала была «преобразована» в дозволительную, а затем в обязывающую.

Интересна иллюстрация «преобразования», связанная с неопределенностью нормы Конституции РФ. Неопределенность правовой нормы влечет ее разное понимание, толкование, а также «допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу» (Басангов 2004: 106). Еще серьезнее ситуация, когда речь идет о норме Конституции РФ, которая из-за своей неопределенности подвергается односторонней трактовке, подрывающей ее демократический потенциал. Иллюстрацией может послужить Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 года № 28-П по делу «О толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». По данному Постановлению трое судей Конституционного Суда (Н.В. Витрук, В.О. Лучин, В.И. Олейник) выразили особые мнения, что весьма показательно. В своем запросе Государственная Дума обратилась к Конституционному Суду за разъяснением, вправе ли Президент РФ вновь представлять отклоненную Государственной Думой кандидатуру Председателя Правительства РФ. Суд решил, что «Президент Российской Федерации при внесении в Государственную Думу предложений о кандидатурах на должность Председателя Правительства Российской Федерации вправе представлять одного и того же кандидата дважды или трижды либо представлять каждый раз нового кандидата» (Постановление Конституционного Суда РФ № 28-П, 1998). Прав Н.В. Витрук, отмечая в особом мнении, что «из буквального смысла текста статьи 111 ... вытекает следующее общее правило: Президент Российской Федерации должен представлять каждый раз новую кандидатуру на пост Председателя Правительства Российской Федерации при ее отклонении Государственной Думой», ибо слово «кандидатура» предполагает множественность лиц. Таким образом, Суд расширил варианты поведения главы государства в сравнении с буквальным смыслом конституционных положений.

Познание конституционно-правовых фикций невозможно без выявления многообразия видов данного феномена. В правовой доктрине вообще и науке конституционного права в частности предлагается ряд классификаций фикции (Курсова 2001; Танимов 2007: 13-16; Ильина 2011). Наиболее распространено деление фикций по уровню юридической силы, по содержанию, по продолжительности существования, по форме выражения, по отношению к фактическим обстоятельствам, по институтам конституционного права.

В зависимости от уровня юридической силы фикции принято подразделять на конституционные, то есть содержащиеся непосредственно в тексте основного закона, и подконституционные – закрепляемые в иных нормативных правовых актах. Если фикции первого типа имеют первичный и базовый характер, то фикции второго типа – производный. Так, признаки фиктивности имеет установленный в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ принцип равноправия субъектов РФ, поскольку из этого принципа сам же Основной закон делает ряд исключений в ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 66 и ч. 4 ст. 66. Примером подконституционных фикций являются положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2016 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подвергнувшие существенной корректировке буквальный смысл

конституционной нормы о самостоятельности населения в определении структуры органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). Несмотря на положение Конституции РФ, Закон от 6 октября 2003 года устанавливает унифицированную структуру органов местного самоуправления в лице представительного органа (ст. 35), главы муниципального образования (ст. 36) и местной администрации (ст. 37) (Федеральный закон № 131-ФЗ, 2003), чем нейтрализует действенность соответствующей конституционной нормы.

Критерий содержания позволяет различать материальные, процессуальные и смешанные фикции. Примером материальной фикции, фиксирующей определенные факты или состояния, выступает абстрактная и недефинируемая категория «суверенитет нации». Иллюстрацией процессуальной фикции в рамках законодательных процедур являются положения ч. 4 ст. 105 Конституции РФ, согласно которым «федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации». То есть Совет Федерации может вообще устраниваться от рассмотрения федерального закона, но его фактическое бездействие будет рассматриваться как одобрение закона «по умолчанию». В качестве смешанной фикции, на наш взгляд, можно указать не совсем адекватную реальности ч. 1 ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом. Отечественное законодательство изобилует огромным количеством всевозможных исключений из этого правила, ставящих под сомнение собственно конституционное правило.

Разграничение фикций по продолжительности существования предполагает их статический и динамический характер. Как следует из названия, статические фикции отличаются длительностью существования и относительной устойчивостью, а динамические, напротив, кратковременны, подвижны и ситуативны. В частности, статичную фиктивность демонстрирует ст. 10 Конституции РФ о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. Авторитет данной нормы подрывается ч. 2 ст. 95 Конституции РФ, предусматривающей, что в «Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации – по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти». Иными словами, со времени принятия Конституции РФ при формировании состава Совета Федерации наблюдается не разделение, а смешение двух ветвей власти. Заметим, что ст. 10 Конституции РФ относится к основам конституционного строя, которым не могут противоречить никакие другие положения Конституции РФ. Более того, основы конституционного строя как нормы базового характера должны поддерживаться действием более конкретных норм, содержащихся в главах 2-9 Конституции РФ.

Динамичная фикция просматривается в положениях ч. 3 ст. 93 Конституции РФ: «Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет

принято, обвинение против Президента считается отклоненным». Как видно, бездействие верхней палаты Федерального Собрания в пределах строго определенного срока влечет за собой освобождение главы государства от уголовной ответственности даже в случае, когда имеются ее основания.

Форма выражения как критерий классификации обуславливает выделение открытых и скрытых (латентных) фикций. Если открытые фикции очевидны и прямо закреплены в тексте нормативного правового акта, то скрытые фикции имеют завуалированный характер и обнаруживаются через толкование норм права. Более того, при преобразовании Основного закона скрытые фикции являются нетекстуальными, поскольку норма конституции остается формально неприкосновенной. Например, традиционно признаками фиктивности обладает любое делегирование полномочий. В этой связи пример открытой фикции – ч. 3 ст. 92 Конституции РФ, в соответствии с которой «во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации». Пример скрытой фикции демонстрирует Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П, которым был преобразован буквальный смысл ч. 2 ст. 125 Конституции РФ. Согласно п. 2.1 Постановления Суд выступает в качестве судебной инстанции, «уполномоченной окончательно разрешать публично-правовые споры о соответствии Конституции Российской Федерации и федеральным законам нормативных актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливая, что акты, которыми определяется их конституционный статус, противоречат федеральному закону» (Постановление Конституционного Суда РФ № 8-П, 2002). Тем самым кроме Конституции РФ эталоном проверки региональных нормативных правовых актов стал также федеральный закон. Однако ч. 2 ст. 125 Конституции РФ предусматривает возможность проверки различных нормативных актов и нормативных договоров на предмет соответствия только Конституции РФ.

По отношению к фактическим обстоятельствам различаются положительные и отрицательные фикции. Положительные фикции признают реально не существующие обстоятельства существующими, а отрицательные, наоборот, отрицают реально существующие обстоятельства. Иллюстрацией положительной фикции является декларирование республик в составе РФ в качестве государств (ч. 2 ст. 5), хотя очевидно, что необходимыми признаками государства они не обладают. Противоположная фикция (отрицательная) усматривается нами в положениях ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, согласно которой «государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». Не требует доказывания тезис о выполнении государственно-властной деятельности органами прокуратуры, но согласно указанной норме они находятся за пределами субъектов, осуществляющих государственную власть.

Указанные факты фикций наблюдаются в различных институтах конституционного права России. Фиктивные правовые начала частично проникли в

основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, институт президентства, парламентское право, законодательный процесс, в местное самоуправление.

Вышесказанное позволяет предложить следующее определение конституционно-правовых фикций: это нормативные положения, содержащиеся в Конституции РФ и иных источниках конституционного права, которые признают заведомо несуществующее положение существующим и наоборот, а также имеют отраслевые особенности.

Анализ Конституции РФ и текущего законодательства подтверждает всеохватность и распространенность фикций в рамках конституционного права как отрасли права, что придает определенную злободневность вопросу о пределах их осуществления. Учитывая неоднозначную роль фикций в конституционном праве, полагаем, что применение фикции как приема юридической техники целесообразно тогда, когда ее неприменение вызовет более негативные последствия. В ряде случаев применение фикций необходимо и неизбежно, но при любых обстоятельствах они не должны подрывать действенность права как регулятора общественных отношений и эффективность его реализации. Использование фикций в конституционном праве должно быть глубоко обоснованным, умеренным и фрагментарным. Несмотря на возможные колебания в интенсивности применения этого приема юридической техники, фикции были и остаются ярким свидетельством расхождения между формальной конституцией и действительностью, а также атрибутом правовой жизни современной России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аничкин Е.С. 2010. Преобразование Конституции Российской Федерации и развитие конституционного законодательства в конце XX – начале XXI в. М. : Юрлитинформ. 416 с.

Басангов Д.А. 2004. Доктринальное конституционное толкование в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М. 185 с.

Еллинек Г. 2004. Общее учение о государстве. СПб. : Юрид. центр-Пресс. 752 с.

Зражевская Т.Д. 1999. Реализация конституционного законодательства : дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж. 371 с.

Ильина Е.В. 2011. Классификация конституционно-правовых фикций [Электронный ресурс] // Современные науч. исследования и инновации. № 6. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2011/10/3011> (дата обращения: 14.08.2017).

Ильинский И.П. 1980. К вопросу о правовой природе и механизме действия советских конституционных норм // Конституционная система развитого социализма / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М. С. 11-14.

Карпенко К.В. 2013. Юридические фикции и презумпции в конституционном праве России // Моск. журн. междунар. права. № 2 (90). С. 124-143.

Ким Ю.В. 2014. Фикции в конституционном праве: происхождение, сущность, значение. Кемерово : LAP LAMBERT Academic Publishing. 208 с.

Корня А. 2004. Конституции приспособят к жизни // Независимая газ. 1 марта. С. 3.

Краец И.А. 2003. Российская Конституция и проблемы эффективности ее реализации // Конституц. право: восточноевроп. обозрение. № 4 (45). С. 73-76.

Курсова О.А. 2001. Фикции в российском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород. 34 с.

Лукьянова Е.А. 2003. Государственность и конституционное законодательство России : дис. ... д-ра юрид. наук. М. 391 с.

Лучин В.О. 2002. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М. : ЮНИТИ-ДАНА. 687 с.

Мазуров А.В. 2004. Конституция и общественная практика. М. : Частное право. 364 с.

Мухачев И.В. 1998. Проблемы теории российского конституционного права. М. : Манускрипт. 115 с.

Нерсесянц В.С. 1998. Философия права. М. : НОРМА-ИНФРА. 652 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 2010. Толковый словарь русского языка. М. : А ТЕМП. 874 с.

Пяткин В.Н. 2016. Фикции в конституционном праве // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. Сер.: Юрид. науки. № 3 (26). С. 86-88.

Старилов Ю.Н. 2005. Будущее Конституции Российской Федерации: «реализация без изменений», «преобразование» или «неизбежность пересмотра»? (ч. 1) // Право и политика. № 1. С. 4-24.

Танимов О.В. 2007. Система юридических фикций в современном российском праве // Вестн. Рос. правовой акад. № 1. С. 13-16.

Филимонова И.В. 2013. Основные современные учения о юридических фикциях в праве России. М. : Юрлитинформ. 282 с.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4916.

Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3030.

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.

Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2004. № 35. Ст. 3607.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998. № 25. Ст. 3004.

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 года № 28-П «По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998. № 52. Ст. 6447.

Постановление Конституционного Суда РФ от 04 апреля 2002 года № 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 15. Ст. 1497.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Рос. газ. 2001. № 66, 4 апр.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 1996. № 1.



E. Anichkin. Fiksii v konstitutsionnom prave Rossiyskoy Federatsii: osobennosti, vidy, deystviye [Fictions in the constitutional law of the Russian Federation: peculiarities, types, action], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. ot-d-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 87–105. (in Russ.).

Evgenii S. Anichkin, Doctor of Law, Associate Professor, Head, Department of Labor, Environmental Law, and Civil Procedure, Altai State University, Barnaul, Russia.
E-mail: rrd231@rambler.ru

Article received 17.10.2017, accepted 12.01.2018, available online 01.07.2018

FICTIONS IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION: PECULIARITIES, TYPES, ACTION

Abstract. Constitutional and legal fictions as a phenomenon of modern legal reality are investigated in the article. Legal fiction is a phenomenon, in which fictitious position is declared as an existing one; it acquires binding character due to its reflection in the norms of law, or vice versa, the actual situation is recognized as non-existent. Sectorial features of the constitutional and legal fictions mean that they have a vast sphere of action and affect priority areas of life; in their majority, they differ in a pronounced political and ideological orientation, and are observed in special cases. Such cases include abstract legal concepts, terms, understanding and interpretation of which are ambiguous; situations when constitutional and legal norms do not receive proper specification and development in other normative legal acts; “transformation” of the norms of the Constitution by current legislation or decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, by which the author understands change (sometimes significant) of meaning of its individual provisions without formal invasion into constitutional text.

Special attention is paid to the classifications and specific manifestations of fictions in the constitutional law of the Russian Federation. Depending on the level of legal force, fictions can be subdivided into constitutional and sub-constitutional; depending on the content – into material, procedural and mixed; depending on the duration of the

existence – into static and dynamic; depending on expression form – into open and hidden (latent); depending on the attitude towards actual circumstances – into positive and negative; depending on institutions of the constitutional law of Russia – into fictions in foundations of the constitutional system, rights and freedoms of human being and citizen, federal structure, institution of the president, parliamentary law, legislative process, and local self-government.

As a result, constitutional and legal fictions are defined as normative provisions contained in the Constitution of the Russian Federation and other sources of the constitutional law that recognize condition, which does not exist as existing, and vice versa, and also have industry features. The author underlines the ambiguous role of fictions in the constitutional and legal regulation of social relations, and the need to optimize their use.

Keywords: constitutional fiction; reality of constitutional provisions; fictitiousness of constitutional provisions; legal life; transformation of the Constitution.

References

Anichkin E.S. *Preobrazovanie Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii i razvitie konstitutsionnogo zakonodatel'stva v kontse XX – nachale XXI v.* [Transformation of the Constitution of the Russian Federation and the development of constitutional legislation in the late XX – early XXI century], Moscow, Yurlitinform, 2010, 416 p. (in Russ.).

Basangov D.A. *Doktrinal'noe konstitutsionnoe tolkovanie v deyatel'nosti Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii : dis. ... kand. jurid. nauk* [Doctrinal constitutional interpretation in the activities of the Constitutional Court of the Russian Federation: dissertation], Moscow, 2004, 185 p. (in Russ.).

Ellinek G. *Obshchee uchenie o gosudarstve* [General doctrine of the state], St. Petersburg, Yurid. tsentr-Press, 2004, 752 p. (in Russ.).

Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 17 dekabrya 2001 goda № 6-FKZ «O poryadke prinyatiya v Rossiyskuyu Federatsiyu i obrazovaniya v ee sostave novogo sub»ekta Rossiyskoy Federatsii» [Federal constitutional law on December 17, 2001 No. 6-FKZ “On the Procedure for Admission to the Russian Federation and Education in its Composition of a New Subject of the Russian Federation”], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2001, no. 52, pt. 1, art. 4916. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 06 oktyabrya 1999 goda № 184-FZ «Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub»ektov Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law on October 06, 1999 No. 184-FZ “On the general principles of the organization of legislative (representative) and executive bodies of state power of the subjects of the Russian Federation”], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 1999, no. 42, art. 5005. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 06 oktyabrya 2003 goda № 131-FZ «Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law on October 06, 2003 No. 131-FZ “On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation”], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2003, no. 40, art. 3822. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 22 avgusta 2004 goda № 122-FZ «O vnesenii izmeneniy v zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii i priznanii utrativshimi silu nekotorykh zakonodatel'nykh aktov Rossiyskoy Federatsii v svyazi s prinyatiem federal'nykh zakonov “O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Federal'nyy zakon “Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub»ektov Rossiyskoy Federatsii” i “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii”» [Federal Law on August 22, 2004 No. 122-FZ “On Amending the

Legislative Acts of the Russian Federation and Recognizing the Invalidation of Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Adoption of Federal Laws» On Amendments and Additions to the Federal Law «On General Principles for the Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Subjects of the Russian Federation «and» On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation»], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2004, no. 35, art. 3607. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 25 iyulya 2002 goda № 113-FZ «Ob al'ternativnoy grazhdanskoj sluzhbe» [Federal Law on July 25, 2002 No. 113-FZ “On Alternative Civil Service”], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2002, no. 30, art. 3030. (in Russ.).

Filimonova I.V. *Osnovnye sovremennyye ucheniya o yuridicheskikh fiktsiyakh v prave Rossii* [The main modern doctrines on legal fictions in the law of Russia], Moscow, YurLitinform, 2013, 282 p. (in Russ.).

I'ina E.V. *Klassifikatsiya konstitutsionno-pravovykh fiktsiy* [Classification of constitutional and legal fictions], *Sovremennyye nauchnye issledovaniya i innovatsii*, 2011, no. 6, available at: URL: <http://web.snauka.ru/issues/2011/10/3011> (accessed August 14, 2017). (in Russ.).

I'inskiy I.P. *K voprosu o pravovoy prirode i mekhanizme deystviya sovetskikh konstitutsionnykh norm* [To the question of the legal nature and mechanism of the operation of Soviet constitutional norms], *B.N. Topornin (resp. ed.), Konstitutsionnaya sistema razvitogo sotsializma*, Moscow, 1980, pp. 11-14. (in Russ.).

Karpenko K.V. *Yuridicheskie fiktsii i prezumptsii v konstitutsionnom prave Rossii* [Legal fictions and presumptions in the constitutional law of Russia], *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava*, 2013, no. 2 (90), pp. 124-143. (in Russ.).

Kim Yu.V. *Fiktsii v konstitutsionnom prave: proiskhozhdenie, sushchnost', znachenie* [Fictions in constitutional law: origin, essence, meaning], Kemerovo, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 208 p. (in Russ.).

Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g.) (v red. ot 21.07.2014) [The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993)], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2014, no. 31, art. 4398. (in Russ.).

Kornya A. *Konstitutsii prisposobyat k zhizni* [Constitution will adapt to life], *Nezavisimaya gazeta*, 2004, March 1, pp. 3. (in Russ.).

Kravets I.A. *Rossiyskaya Konstitutsiya i problemy effektivnosti ee realizatsii* [The Russian Constitution and the problems of the effectiveness of its implementation], *Konstitutsionnoe pravo: vostochnoevropeyskoe obozrenie*, 2003, no. 4 (45), pp. 73-76. (in Russ.).

Kursova O.A. *Fiktsii v rossiyskom prave : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Fictions in the Russian law: abstr. of diss.], Nizhny Novgorod, 2001, 34 p. (in Russ.).

Luchin V.O. *Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. Problemy realizatsii* [The Constitution of the Russian Federation. Problems of implementation], Moscow, YuNITI-DANA, 2002, 687 p. (in Russ.).

Luk'yanova E.A. *Gosudarstvennost' i konstitutsionnoe zakonodatel'stvo Rossii : dis. ... d-ra yurid. nauk* [Statehood and constitutional legislation: dissertation], Moscow, 2003, 391 p. (in Russ.).

Mazurov A.V. *Konstitutsiya i obshchestvennaya praktika* [Constitution and public practice], Moscow, Chastnoe pravo, 2004, 364 p. (in Russ.).

Mukhachev I.V. *Problemy teorii rossiyskogo konstitutsionnogo prava* [Problems of the theory of Russian constitutional law], Moscow, Manuscript, 1998, 115 p. (in Russ.).

Nersesyants V.S. *Filosofiya prava* [Philosophy of law], Moscow, NORMA-INFRA, 1998, 652 p. (in Russ.).

Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of Russian language], Moscow, A TEMP, 2010, 874 p. (in Russ.).

Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniyu RF [Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly], *Rossiyskaya gazeta*, 2001, no. 66, April 4. (in Russ.).

Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 04 aprelya 2002 goda № 8-P «Po delu o proverke konstitutsionnosti otdel'nykh polozheniy Federal'nogo zakona "Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub»ektov Rossiyskoy Federatsii" v svyazi s zaprosami Gosudarstvennogo Sobraniya (Il Tumen) Respubliki Sakha (Yakutiya) i Soveta Respubliki Gosudarstvennogo Soveta – Khase Respubliki Adygeya» [Decision of the constitutional court of the Russian Federation on April 04, 2002 No. 8-P "In the case of the verification of the constitutionality of certain provisions of the Federal Law «On the General Principles of the Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Subjects of the Russian Federation» in connection with the requests of the State Assembly (Il Tumen) of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Council of the Republic of the State Council – Republic of Adygea"], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2002, no. 15, art. 1497. (in Russ.).

Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 11 dekabrya 1998 goda № 28-P «Po delu o tolkovanii polozheniy chasti 4 stat'i 111 Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii» [Decision of the constitutional court of the Russian Federation on December 11, 1998 No. 28-P "In the case of the interpretation of the provisions of part 4 of Article 111 of the Constitution of the Russian Federation"], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 1998, no. 52, art. 6447. (in Russ.).

Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 16 iyunya 1998 goda № 19-P «Po delu o tolkovanii otdel'nykh polozheniy statey 125, 126 i 127 Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii» [Decision of the constitutional court of the Russian Federation on June 16, 1998 No. 19-P "In the case of the interpretation of certain provisions of Articles 125, 126 and 127 of the Constitution of the Russian Federation"], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 1998, no. 25, art. 3004. (in Russ.).

Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 31 oktyabrya 1995 goda № 8 «O nekotorykh voprosakh primeneniya sudami Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii pri osushchestvlenii pravosudiya» [Resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation on October 31, 1995 No. 8 "On Some Issues of Application by the Courts of the Constitution of the Russian Federation in the Administration of Justice"], *Byulleten' Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii*, 1996, nro. 1. (in Russ.).

Pyatkin V.N. *Fiktsii v konstitutsionnom prave* [Fictions in constitutional law], *Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Yuridicheskie nauki*, 2016, no. 3 (26), pp. 86–88. (in Russ.).

Starilov Yu.N. *Budushchee Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii: «realizatsiya bez izmeneniy», «preobrazovanie» ili «neizbezhnost' peresmotra»? (chast' 1)* [The future of the Constitution of the Russian Federation: "implementation without changes", "transformation" or "the inevitability of revision"? (pt. 1)], *Pravo i politika*, 2005, no. 1, pp. 4–24. (in Russ.).

Tanimov O.V. *Sistema yuridicheskikh fiktsiy v sovremennom rossiyskom prave* [System of legal fictions in modern Russian law], *Vestnik Rossiyskoy pravovoy akademii*, 2007, no. 1, pp. 13–16. (in Russ.).

Zrazhevskaya T.D. *Realizatsiya konstitutsionnogo zakonodatel'stva : dis. ... d-ra yurid. nauk* [Implementation of constitutional legislation: dissertation], Voronezh, 1999, 371 p. (in Russ.).



Пантелеев В.Ю. Административная реформа как условие реализации антикоррупционной политики // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 106–119.

УДК 342.9

DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.106119

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Вадим Юрьевич Пантелеев

кандидат юридических наук, доцент,

Председатель Уставного Суда

Свердловской области,

г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: info@ustavsud.ur.ru

Материал поступил в редколлегию 04.04.2018 г.

В статье рассматривается влияние реализации основных направлений административной реформы в Российской Федерации на коррупцию в целом, и в частности в одной из важнейших сфер жизнедеятельности – сфере потребительского рынка. Автор на основе анализа результатов законотворческих и правоприменительных усилий уполномоченных органов государственной власти приходит к выводу, что их цель не достигнута. Коррупционность в деятельности должностных лиц государственного аппарата часто связана с нечеткостью правовых предписаний, необоснованным субъективизмом в принятии решений и осуществлении административных процедур, с недостаточным использованием потенциала административных санкций. В этой связи необходимо комплексное совершенствование правового регулирования осуществления контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти с учетом целей и задач административной реформы в Российской Федерации. Основное внимание автор уделяет анализу норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающихся регулирования общественных отношений в области предпринимательской деятельности и в сфере потребительского рынка. В статье рассматриваются вопросы совершенствования административного законодательства в этом направлении и повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти, в первую очередь Федеральной антимонопольной службы и Федерального надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Автор дает конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства Российской Федерации в плане противодействия коррупции в сфере потребительского рынка.

Ключевые слова: административная реформа, коррупция, сфера потребительского рынка, административные процедуры, права граждан, контроль и надзор.

Важнейшими направлениями современного социально-экономического развития России являются обеспечение стабильности государственного

управления, повышение эффективности работы государственного аппарата, оптимизация и интенсификация администрирования общественных отношений в сфере материального и духовного потребления населения страны. И это особенно актуально в связи с необходимостью структурных изменений в экономике, диверсификации производства и увеличения доли отечественных товаров и услуг на потребительском рынке, повышения их качества и конкурентоспособности в условиях санкционного давления со стороны ряда иностранных государств. Особую значимость приобретают меры по совершенствованию правовых форм и методов взаимодействия государства и бизнеса, упорядочению и систематизации регулирования органами публичной власти процессов производства и реализации товаров, работ и услуг, снижению коррупционной составляющей в данной сфере.

Проблемные вопросы, связанные с реализацией конкретных задач административной реформы, были рассмотрены ведущими российскими учеными права, такими как И.Л. Бачило, В.А. Юсупов, Н.И. Побежимова, М.Ф. Зеленев, А.В. Кирин, Е.Г. Крылова, В.Г. Татарян, М.А. Лапина, С.Е. Нарышкин, Ю.Н. Стариков, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева и др.

Так, Ю.Н. Стариков, определяя главные цели административной реформы, указывает повышение эффективности государственного управления и борьбу с коррупцией, связанной с произвольным применением административно-правовых актов, в том числе разрешительных, лицензионных и надзорных. Он особо подчеркивает, что административную реформу можно считать политическим шагом, направленным на коренные изменения в административной сфере в целях укрепления и совершенствования организации и функционирования публичного управления, обеспечения эффективности и режима законности деятельности государственных и муниципальных служащих, улучшения административных процедур и повышения правового качества административного нормотворчества. Результатом административной реформы в правовом аспекте является изменение российского административного законодательства и, как следствие, самого административного права, системы административно-правового регулирования (Стариков 2004).

Рассматривая проблемы правотворчества и правоприменения в сфере государственного управления за последние 25 лет, Ю.А. Тихомиров особо подчеркивает, что не решены вопросы административной реформы, в частности имеет место недооценка системных регуляторов (процедур контроля, надзора и т.д.) и анализа дефектов правового сознания и поведения государственных и муниципальных служащих – коррупционных рисков. При этом он выделяет как одну из важных государственных задач принятие законов в качестве мощного средства опережающего воздействия на общественные отношения и создание обоснованной системы правоприменения, исключающих произвол органов публичной власти и их должностных лиц (Тихомиров 2015: 201-205).

Несмотря на наличие ряда теоретических разработок в этой сфере взаимосвязь административной реформы и антикоррупционной политики Российской Федерации на современном этапе как необходимое условие ре-

ализации административных мер по противодействию коррупции, на наш взгляд, еще недостаточно исследована в отечественной науке.

Актуальность этого направления деятельности государства подтверждается и необходимостью соблюдения норм международного права, в частности резолюций ООН 35/63 от 5 декабря 1980 года «Принципы правового недопущения недобросовестных схем предпринимательской деятельности», 39/248 от 9 апреля 1985 года «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», 70/186 от 22 декабря 2015 года «Защита интересов потребителей», в которых установлены данные требования для всех правительств государств – членов ООН, в том числе и с позиции применения административных мер по противодействию коррупции (Резолюция ГА ООН 35/63, 1980).

Наличие административных барьеров в этой сфере приводит к увеличению коррупционной составляющей в стоимости товаров, работ и услуг; это оборачивается еще большим неоправданным ростом цен, невозможностью приобретения определенных категорий товаров и услуг отдельными группами граждан, нарастанием социальной напряженности и дестабилизацией социально-политической обстановки в стране.

И здесь необходимо констатировать, что, с одной стороны, контрольно-надзорная деятельность в области экономических отношений, и в первую очередь в сфере потребительского рынка, должна быть строго регламентирована, проводиться на основе серьезного научного экономического и правового анализа, строиться на регулярной основе и соответствовать уровню развития рынков, состоянию экономики и отвечать интересам всех участников экономической деятельности. Задачи по повышению инвестиционной привлекательности нашей страны, внедрению инновационных технологий в производство и реализацию товаров, работ и услуг требуют безусловного снижения административных барьеров; в этом контексте недопустимы ограничения законной предпринимательской деятельности (Пантелеев 2015: 484-522).

С другой стороны, в условиях санкционных ограничений и безусловного их влияния на качество жизни и уровень доходов населения, нестабильности российской валюты, необоснованного завышения цен на продукты питания, попыток дестабилизации политической и социально-экономической обстановки в стране, которые связаны с невозможностью определенных групп граждан (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, лица с низким уровнем доходов и временно потерявшие работу и т.п.) приобретать жизненно важные товары и услуги, необходима их государственная защита и надлежащее правовое обеспечение этих процессов (Пантелеев 2009).

В этой связи очень важна взаимосвязь антикоррупционных мероприятий, таких как формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционная экспертиза правовых актов, повышение квалификационных требований к государственным или муниципальным служащим, развитие институтов общественного и парламентского контроля, и административной реформы направленной на ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предприни-

мательства и предусматривающей в частности, прекращение избыточного государственного регулирования, исключение дублирования функций и полномочий органов исполнительной власти, развитие системы саморегулируемых организаций, организационное разделение функций, касающихся регулирования предпринимательской деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственных организациями услуг гражданам и юридическим лицам, завершение процесса разграничения функций между органами исполнительной власти и обеспечение условий, исключающих совмещение контрольно-надзорных функций с осуществлением хозяйственной деятельности (Пантелеев 2014).

Безусловно, при проведении контрольно-надзорных мероприятий возникают коррупционные риски, связанные с компетенцией органов и существенным разбросом санкций. Так, в соответствии с КоАП РФ подобными полномочиями относительно потребительского рынка обладают Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Начиная с 2010 г. этим органам принадлежат и основные административно-юрисдикционные полномочия в данной сфере. Глава 14 КоАП РФ за это время дополнена тринадцатью составами административных правонарушений и в своих нормах предусматривает санкции в виде штрафа от одной тысячи до миллиона рублей в зависимости от субъекта правонарушения, а также приостановление деятельности и ликвидацию юридического лица. В данной ситуации многое зависит от субъективного усмотрения правоприменителя, что является существенным коррупционным фактором.

Анализ норм КоАП РФ показывает, что в 2005 г. к подведомственности Роспотребнадзора относилось 11 составов, а в 2015 г. – уже 18 составов административных правонарушений. К административной юрисдикции Роспотребнадзора и его территориальных подразделений были добавлены полномочия, в том числе по осуществлению функций по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (глава 6 КоАП РФ, ст. 6.3–6.7, 6.24, 6.25, глава 7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 7.2, глава 8 КоАП РФ, ст. 8.2, ст. 8.5, ч. 2 ст. 8.42) и функций по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка (глава 9 КоАП РФ, ч. 1 и 2 ст. 9.16, глава 10 КоАП РФ, ст. 10.8, глава 14 КоАП РФ, ст. 14.2, ч. 1 ст. 14.3.1, ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.5, ст. 14.6–14.8, 14.15, ч. 2.1 и 3 ст. 14.16, ч. 2–4, 6–8 ст. 14.34, ст. 14.39, ч. 1 ст. 14.51, ст. 14.53, глава 19 КоАП РФ, ст. 19.14).

За тот же период подведомственность ФАС России также расширилась с шести до девятнадцати составов административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.15, ч. 6 и 12 ст. 9.16, ст. 9.21, 14.3, ч. 4 и 5 ст. 14.3.1, ст. 14.9, ч. 6 ст. 14.24, ст. 14.31, 14.31.1, ч. 1 ст. 14.31.2, ст. 14.32, 14.33, ч. 1, 3–5 ст. 14.38, ст. 14.40–14.42, ч. 2.1–2.7 ст. 19.5, ст. 19.8, ст. 19.31 КоАП РФ.

В антимонопольное законодательство и законодательство об административных правонарушениях было внесено несколько групп изменений.

В результате в КоАП РФ появился ряд новелл, ранее не свойственных данному нормативному акту. Например, такой вид административных наказаний, как дисквалификация, стал применяться в отношении должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. В отношении антимонопольных статей КоАП РФ были установлены особые виды смягчающих и отягчающих обстоятельств, в дополнение к общим видам, закрепленным в статьях главы 4 КоАП РФ. Были внесены изменения и в порядок возбуждения дел об административных правонарушениях в части установления особых поводов к возбуждению дела по антимонопольным статьям главы 14 КоАП РФ.

Помимо этого регламентирован порядок расчета оборотных штрафов, в том числе порядок их увеличения или уменьшения в зависимости от наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств (примечания 2–4 к ст. 4.31 КоАП РФ); исключена возможность одновременного привлечения к административной ответственности в виде штрафа и перечисления в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства; конкретизирована ответственность за картели на торгах – оборотный штраф стал привязан к начальной стоимости предмета торгов и составляет от 10 до 50% начальной стоимости предмета торгов (абз. 2 ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ) и др.

Таким образом, очевиден большой прогресс, достигнутый в последние годы в деле формирования и практического применения норм об административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, что положительно сказывается на состоянии законности в данной сфере. В частности, применение антимонопольными органами административной ответственности в виде «оборотных» штрафов за нарушение антимонопольного законодательства позволило существенно повысить эффективность реализации антимонопольного законодательства по противодействию коррупции.

Следует отметить, что коррупционные составы правонарушений, предусмотренные главой 14 КоАП РФ, применяемые в сфере потребительского рынка, являются бланкетными, так как ст. 14.9, 14.31–14.33 не содержат подробного описания нарушений, ограничиваясь указанием наименования деяний – злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке, недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции органами.

Динамично развивающаяся сфера потребительского рынка располагает широким спектром разнообразных современных продуктов, новых услуг, финансовых предложений и т.д. Зачастую неподготовленного, а порой и подготовленного потребителя бывает легко ввести в заблуждение, обмануть и причинить ему моральный, материальный и физический вред. Достаточно много сфер деятельности, где гражданин чувствует себя незащищенным и где велик риск оказаться обманутым. В связи с этим нормы международного права, содержащиеся в упомянутых Резолюциях ООН, предписывают правительствам государств – членов ООН обеспечить граждан – потребителей эффективной защитой путем применения административно-правовых средств (Резолюция ГА ООН 70/186, 2015).

Практика применения административного законодательства показала, что проблемными для потребителей в последнее время стали наиболее подверженные коррупционным составляющим услуги жилищно-коммунального хозяйства и услуги по перевозке пассажиров; особое беспокойство вызывает недостаточный уровень безопасности и качества реализуемых товаров (работ, услуг), особенно продовольственных; зачастую отсутствует полная и достоверная информация о составе продовольственных товаров, товаров детского и диетического питания; достаточно велико наличие фальсификата и контрафакта на прилавках магазинов. Многие пожилые люди, лица с ограниченными возможностями и граждане других категорий были введены в заблуждение и попали под влияние широко распространяемой через почтовые рассылки агрессивной рекламы с навязыванием продажи товаров по каталогам и обещанием последующего получения большого денежного выигрыша и т.д.

При этом следует констатировать, что с момента принятия КоАП РФ не изменились применяемые виды наказаний за данные правонарушения и крайне несущественно увеличились размеры налагаемых штрафов; это не способствует надлежащему обеспечению законности и безопасности в данной сфере, а положительные изменения, затронувшие именно антимонопольное законодательство, не распространились на иные правонарушения в сфере потребительского рынка, предусмотренные той же главой 14 КоАП РФ.

Потребители часто сталкиваются с различного рода нарушениями своих прав, но в силу незнания, отсутствия времени либо из-за неверия в возможность что-либо изменить и несоизмеримости компенсации понесенному ущербу не отстаивают свои права. Задачей государства в этой связи должна стать адекватная и надежная защита граждан от коррупционных злоупотреблений хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, именно усиление санкций за правонарушения в сфере потребительского рынка может значительно улучшить ситуацию. Представляется неоправданно низким содержащийся в КоАП РФ размер административных штрафов за нарушения прав потребителей. Предпринимателю зачастую экономически более выгодно его оплатить, даже неоднократно, нежели затратить время и финансовые средства на устранение нарушения.

Например, за сознательно совершаемые действия предпринимателей по обману потребителя, такие как введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара (работы, услуги) (ст. 14.7 КоАП), включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя (ст. 14.8 КоАП), максимальный размер административного штрафа для юридических лиц предусмотрен от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Еще более непредсказуемая ситуация сложилась с обеспечением общественной, экологической, экономической, производственной (технологической) безопасности, безопасности граждан и в целом национальной безопасности в связи с незаконной предпринимательской деятельностью, реализацией товаров, работ, услуг, опасных для жизни и здоровья населения. Так, согласно ст. 14.4 КоАП продажа некачественных товаров,

выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, а на физических лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 14.1 КоАП РФ закрепила положения, касающиеся осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Указанная норма устанавливает административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, или без государственной регистрации в качестве юридического лица, или без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), а также с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), или ее осуществление с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Статья 14.2 КоАП РФ установила административную ответственность, касающуюся незаконной продажи товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Она ограничивает наказание лишь предупреждением или незначительным штрафом за совершение данных правонарушений.

В этой ситуации теряется смысл административного наказания. Незначительность административного наказания не способствует профилактике и предупреждению правонарушений, практически сводит на нет меры государственного контроля и не стимулирует предпринимателей к ведению добросовестной деятельности, а произвольность административного усмотрения подвергает существенным коррупционным и правовым рискам социально-экономические процессы в сфере потребительского рынка.

В цивилизованном обществе потребитель – каждый без исключения человек, вступающий в общественные отношения с хозяйствующими субъектами, – должен быть уверен в предпринимательской добросовестности, получении полной и достоверной информации, в приобретении качественного товара (работы, услуги) и действенной защитной функции государства. Такая ситуация возможна, когда совершать правонарушения становится невыгодно из-за безусловно наступающей соразмерной деянию ответственности.

В связи с этим предлагается значительно повысить штрафы за нарушения прав потребителей; за грубые нарушения ввести административное приостановление деятельности, а также обратные способы исчисления штрафов по примеру статей главы 14 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Анализ применения административных наказаний показывает, что в 2012–2016 гг. в результате рассмотрения обращений по вопросам защиты прав потребителей в 70% случаев заявителям были даны необходимые разъяснения, 10 % обращений направлено на рассмотрение в другой орган

в соответствии с их компетенцией. Таким образом, по своему субъективно-му усмотрению должностные лица Роспотребнадзора фактически отказали гражданам в защите их прав. Лишь каждое пятое письменное обращение гражданина явилось в 2012 г. основанием для проведения внеплановой проверки, и/или принимались решения о возбуждении дела об административном правонарушении (в 2011 г. – каждое четвертое обращение) (Защита прав... 2013: 58-63). Аналогичная ситуация сложилась и в 2013–2016 гг. (Защита прав... 2017: 86).

Большая доля принятых в 2012 г. административных мер, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, была связана с нарушениями прав потребителей на информацию о продавце (исполнителе, изготовителе) и о товаре (работе, услуге), квалифицируемыми в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (всего на их долю приходится 30% в 2012 г. и 27% в 2011 г.). Значительное количество постановлений о привлечении к административной ответственности (около 40% как в 2011 г., так и в 2012 г.) за нарушения прав потребителей было связано с несоблюдением требований правил продажи отдельных видов товаров, правил продажи по образцам, дистанционной торговли, а также правил оказания отдельных видов услуг (работ), принятых в соответствии со ст. 26.1, 26.2 и 39.1 Закона «О защите прав потребителей». В этой связи часть 1 статьи 14.4 КоАП РФ применялась в 11% случаев от общего количества принятых мер, а статья 14.15 КоАП РФ – в 28% случаев. На иные нарушения прав потребителей, квалифицируемые в соответствии с нормами КоАП РФ (в том числе ст. 14.6–14.8 и 14.16), полномочия по применению которых предоставлены Роспотребнадзору на основании ст. 23.49 КоАП РФ, приходится лишь 9%. Произвольность применения норм административного права свидетельствует о наличии существенной коррупционной составляющей в сфере потребительского рынка, которая в 2014–2016 гг. имела тенденцию увеличения (Защита прав... 2017: 89).

Таким образом, несмотря на имеющийся значительный потенциал применения мер административного воздействия на правонарушителей, в 95% случаев при рассмотрении обращений граждан применялись лишь разъяснение законодательства и предупреждения, а при применении административного штрафа его средняя величина составила всего лишь 2800 рублей (Защита прав... 2013).

В результате, несмотря на постоянный рост цен на товары, работы, услуги, снижение их качества и безопасности для жизни и здоровья населения, увеличившуюся частоту нарушений прав потребителей, в 2014 г. прекратился рост числа обращений в Роспотребнадзор. Их количество составило 308 902, что на 4% меньше, чем в 2013 г. (321 665 обращений), на 10,1% больше, чем в 2012 г. (280 587 обращений), на 17,7% больше, чем в 2011 г. (262 543 обращения), на 37% больше, чем в 2010 г. (225 531 обращение) и почти в 6,5 раза больше, чем в 2005 г. (47 211 обращений) (Защита прав... 2015). За 2014 г. были рассмотрены 303 163 письменных обращения, из которых в 70,1% случаев заявителям опять были даны лишь разъяснения (212 429), 17,5% обращений направлено на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному

лицу в соответствии с их компетенцией (53 177), 14,7% письменных обращений от общего числа принятых к рассмотрению послужили поводом к проведению проверок и /или возбуждению дела об административном правонарушении (44 804). Всего в 2014 г. было вынесено 146 022 постановления по делу об административном правонарушении (в 2013 г. – 156 853, в 2012 г. – 156 671) о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа. Большая доля принятых административных мер в 2014 г., как и в предыдущие периоды, была связана с несоблюдением требований правил продажи отдельных видов товаров, правил продажи по образцам, дистанционной торговли, а также правил оказания отдельных видов услуг (работ), квалифицируемых в соответствии со ст. 14.15 КоАП РФ (всего на их долю в 2014 г. пришлось 38,0% постановлений, в 2013 г. – 37,0%), а также несоблюдением прав потребителей на информацию о продавце (исполнителе, изготовителе) и о товаре (работе, услуге), квалифицируемых в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (всего в 2014 г. на их долю пришелся 31,0%, что соответствует уровню прошлого года (33,0%)). Таким образом, именно субъективное усмотрение должностных лиц явилось причиной применения в массовом порядке предупреждений или незначительных штрафов, что обуславливает дестабилизацию процессов обеспечения качественными, безопасными и доступными жизненно важными товарами различных групп населения, рост цен и нарастание социальной напряженности в обществе, появление коррупционной составляющей в стоимости товара (Пантелеев 2012).

Аналогичная ситуация сложилась и с ФАС России. Например, в условиях резкого роста цен на основные группы товаров и услуг этим органом в 2013 г. рассмотрено 29 912 обращений о нарушении антимонопольного законодательства, при этом возбуждено только 10 028 дел о нарушении антимонопольного законодательства, из этого числа принято лишь 8 005 решений о наличии нарушения законодательства (Итоговый доклад... 2014).

Необходимо отметить, что реализуемая в стране административная реформа предусматривает повышение эффективности управления посредством разделения нормотворческих, контрольно-надзорных и административно-хозяйственных функций органов исполнительной власти и, соответственно, разделение отраслевых органов исполнительной власти на министерства, службы и агентства. Однако Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возлагает на данный контрольно-надзорный орган несвойственные хозяйственные функции, например размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд, на поставку вакцин, профилактических прививок и др., на что ежегодно выделяют многомиллиардные средства бюджета страны; это противоречит основным направлениям административной реформы и увеличивает коррупциогенность в деятельности данного органа и его должностных лиц (Пантелеев 2015: 317-318).

Важная антикоррупционная новелла, предусматривающая ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица,

введена в КоАП РФ в 2008 году, а федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ расширена объективная сторона данного правонарушения. Так, согласно ст. 19.28 КоАП РФ ответственность юридического лица стала наступать не только за незаконную передачу, но и за предложение или обещание должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение в интересах этого юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. При этом срок давности привлечения к административной ответственности был увеличен до шести лет со дня совершения правонарушения.

Между тем, несмотря на определенные положительные тенденции и ввиду высокой степени латентности этих правонарушений, вряд ли можно признать удовлетворительной работу в данном направлении. Единичны факты, когда представители юридических лиц добровольно сообщают в правоохранительные органы о незаконном вознаграждении. В этом случае физическое лицо при совершении преступления от имени или в интересах юридического лица освобождается от уголовной ответственности согласно примечаниям к ст. 204, 291 и 291.1 УК РФ. Но юридическое лицо все же подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Представители юридических лиц не заинтересованы в выявлении, пресечении (предотвращении) противоправного поведения. Считаем, что отсутствие в КоАП РФ положений, предусматривающих возможность освобождения юридических лиц от административной ответственности в случаях добровольного сообщения ими о фактах вымогательства незаконного вознаграждения, есть сдерживающий фактор, не позволяющий выявлять правонарушения такого рода и связанную с ними наиболее опасную форму коррупции – взяточничество. Поэтому крайне необходимо закрепить в КоАП РФ соответствующее примечание к ст. 19.28 по аналогии с УК РФ.

В заключение следует отметить, что противодействие коррупции может быть эффективным лишь при условии комплексного подхода. Мы видим, что в настоящее время слабо используется потенциал административно-правовых санкций, велика доля субъективного усмотрения при реализации государственных полномочий контрольного характера. Коррупционные схемы в деятельности должностных лиц государственного аппарата часто связаны именно с нечеткостью правовых предписаний, необоснованным субъективизмом при принятии решений и осуществлении административных процедур. В этой связи необходимо комплексное совершенствование правового регулирования осуществления контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти с учетом целей и задач административной реформы в Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бачило И.Л. 2003. Еще раз о сути административной реформы в России // История становления и современное состояние исполнительной власти в России. М. : Новая правовая культура. С. 13-24.

Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году, 2013 : гос. докл. М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 156 с.

Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2014 году, 2015 : гос. докл. М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 308 с.

Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году, 2017 : гос. докл. М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 283 с.

Зеленов М.Ф. и др. 2015. Административно-правовое регулирование государственных реформ в Российской Федерации / М.Ф. Зеленов, А.В. Кирин, Е.Г. Крылова, Н.И. Побежимова, В.Г. Татарян, В.А. Юсупов. М. : РАНХиГС. 48 с.

Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной антимонопольной службы за 2013 год, 2014. М. : Федер. антимонопол. служба. 431 с.

Лапина М.А. 2007. Современная реформа, система государственного управления : Административно-правовой аспект. М. : РГТУ. 312 с.

Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. 2006. Административная реформа в России: некоторые итоги и задачи юридической науки // Журн. рос. права. № 11. С. 3-13.

Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. 2008. Административная реформа в субъектах Российской Федерации // Журн. рос. права. № 10. С. 3-14.

Пантелеев В.Ю. 2009. Особенности применения современного российского антикоррупционного законодательства в сфере потребительского рынка // Российское право: образование, практика, наука. № 2. С. 1-12.

Пантелеев В.Ю. 2012. Анализ коррупционных процессов в сфере производства и торговли товарами, оказания услуг, выполнения работ // Вестн. Бурят. гос. ун-та. № 2. С. 48-50.

Пантелеев В.Ю. 2014. Проблемы системности и комплексности правового регулирования противодействия коррупции на современном этапе в РФ // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики РФ в области противодействия коррупции: сб. тр. по итогам Всерос. науч. конф. / отв. ред. В.Н. Руденко. Екатеринбург : УрО РАН. С. 39-45.

Пантелеев В.Ю. 2015. Государственно-правовое регулирование сферы потребительского рынка в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. М. : Юрлитинформ. 656 с.

Старилов Ю.Н. 2004. Административная реформа: политико-правовые особенности и первые итоги // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Гуманит. науки. № 1. С. 3-31.

Тихомиров Ю.А. 2015. Право: прогнозы и риски: монография. М. : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации : ИНФРА-М. 240 с.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // Рос. газ. № 97. 2011. 6 мая.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 35/63 от 5 декабря 1980 года [Электронный ресурс]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/395/38/IMG/NR039538.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.03.2018).

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/248 от 9 апреля 1985 года [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: локальный. Версия: 4015.00.01. Сборка 177325.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/186 от 22 декабря 2015 года «Защита интересов потребителей» [Электронный ресурс]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/13/PDF/N1544913.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.03.2018).



V. Pantelev. Administrativnaya reforma kak usloviye realizatsii antikorrupsionnoy politiki [Administrative reform as prerequisite for implementation of anticorruption measures], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. ot-d-niya Ros. akad. nauk*, 2018, vol. 18, iss. 2, pp. 106–119. (in Russ.).

Vadim Y. Pantelev, Candidate of Law, Associate Professor. Chairman, Constitutional Court of Sverdlovsk region, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: info@ustavsud.ur.ru

Article received 04.04.2017, accepted 20.06.2017, available online 01.07.2018

ADMINISTRATIVE REFORM AS PREREQUISITE FOR IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION MEASURES

Abstract. In this article, the author examines the impact of administrative reform in the Russian Federation over corruption in general and in the sphere of the consumer market, in particular. The author bases on the analysis of the results of enforcement activities of the competent authorities, and comes to the conclusion about currently under-utilized potential of legal and administrative sanctions. Corruption in activities of officials of the state apparatus is often caused by the unclear legal requirements, unreasonable subjectivity in decision-making, and implementation of administrative procedures. On this basis, the author believes that comprehensive legal regulation of implementation of control and supervisory powers of state authorities in conjunction with the objectives and tasks of administrative reform in the Russian Federation is required. The author focuses on the analysis of norms of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation concerning the regulation of public relations in the field of entrepreneurship and the consumer market. In the study, the author pays attention to the issues of improvement of administrative legislation in this sphere, and the efficiency of control and supervisory activities of Federal Executive bodies, primarily the Federal Antimonopoly Service, and

Federal Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being. The author gives specific recommendations for improving the legislation of the Russian Federation on counteraction of corruption in the sphere of consumer market.

Keywords: administrative reform; corruption; sphere of consumer market; administrative procedures; rights of citizens; control and supervision.

References

Bachilo I.L. *Eshche raz o suti administrativnoy reformy v Rossii* [Once again, the essence of the administrative reform in Russia], *Istoriya stanovleniya i sovremennoe sostoyanie ispolnitel'noy vlasti v Rossii*, Moscow, Novaya pravovaya kul'tura, 2003, pp. 13-24. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 4 maya 2011 goda № 97-FZ «O vnesenii izmeneniy v Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii i Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh v svyazi s sovershenstvovaniem gosudarstvennogo upravleniya v oblasti protivodeystviya korruptsii» [Federal Law No. 97-FZ of May 4, 2011 «On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses in Connection with the Improvement of Public Administration in the Area of Combating Corruption»], *Rossiyskaya gazeta*, 2011, no. 97, May 6. (in Russ.).

Itogovy doklad o rezul'tatakh i osnovnykh napravleniyakh deyatelnosti Federal'noy antimonopol'noy sluzhby za 2013 god [Final report on the results and main activities of the Federal Antimonopoly Service for 2013], Moscow, Federal'naya antimonopol'naya sluzhba, 2014, 431 p. (in Russ.).

Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30 dekabrya 2001 goda № 195-FZ (red. ot 30.10.2017) [The Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of December 30, 2001 No. 195-FZ (as amended on October 30, 2017)], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 2002, no. 1, pt. 1, art. 1. (in Russ.).

Lapina M.A. *Sovremennaya reforma, sistema gosudarstvennogo upravleniya : Administrativno-pravovoy aspekt* [Modern reform, the system of public administration. Administrative and legal aspect], Moscow, RGTU, 2007, 312 p. (in Russ.).

Naryshkin S.E., Khabrieva T.Ya. *Administrativnaya reforma v Rossii: nekotorye itogi i zadachi yuridicheskoy nauki* [Administrative Reform in Russia: Some Results and Tasks of Legal Science], *Zhurnal rossiyskogo prava*, 2006, no. 11, pp. 3-13. (in Russ.).

Naryshkin S.E., Khabrieva T.Ya. *Administrativnaya reforma v sub'ektakh Rossiyskoy Federatsii* [Administrative reform in the subjects of the Russian Federation], *Zhurnal rossiyskogo prava*, 2008, no. 10, pp. 3-14. (in Russ.).

Panteleev V.Yu. *Analiz korruptsionnykh protsessov v sfere proizvodstva i torgovli tovarami, okazaniya uslug, vypolneniya rabot* [Analysis of corruption processes in the sphere of production and trade in goods, provision of services, performance of work], *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2012, no. 2, pp. 48-50. (in Russ.).

Panteleev V.Yu. *Gosudarstvenno-pravovoe regulirovanie sfery potrebitel'skogo rynka v Rossiyskoy Federatsii: problemy teorii i praktiki: monografiya* [State legal regulation of the consumer market in the Russian Federation: problems of theory and practice: monograph], Moscow, YurLitinform, 2015, 656 p. (in Russ.).

Panteleev V.Yu. *Osobennosti primeniyasovremennorossiyskogoantikorrupsionnogo zakonodatel'stva v sfere potrebitel'skogo rynka* [Features of the application of modern Russian anti-corruption legislation in the consumer market], *Rossiyskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka*, 2009, no. 2, pp. 1-12. (in Russ.).

Panteleev V.Yu. *Problemy sistemnosti i kompleksnosti pravovogo regulirovaniya protivodeystviya korruptsii na sovremennom etape v RF* [Problems of systemic and complex legal regulation of counteracting corruption at the present stage in the Russian Federation], V.N. Rudenko (resp. ed.) *Aktual'nye problemy nauchnogo obespecheniya gosudarstvennoy politiki RF v oblasti protivodeystviya korruptsii: sb. tr. po itogam Vseros. nauch. konf.*, Ekaterinburg, UrO RAN, 2014, pp. 39–45. (in Russ.).

Rezolyutsiya General'noy Assamblei OON 35/63 ot 5 dekabrya 1980 goda [Resolution of the UN General Assembly 35/63 of December 5, 1980], available at: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/395/38/IMG/NR039538.pdf?OpenElement> (accessed March 25, 2018). (in Russ.).

Rezolyutsiya General'noy Assamblei OON 39/248 ot 9 aprelya 1985 goda [Resolution of the UN General Assembly 39/248 of April 9, 1985], *Spravochno-pravovaya sistema «Konsul'tantPlyus»*, Rezhim dostupa: lokal'nyy, Versiya: 4015.00.01, Sbornik 177325. (in Russ.).

Rezolyutsiya General'noy Assamblei OON 70/186 ot 22 dekabrya 2015 goda «Zashchita interesov potrebiteley» [Resolution of the UN General Assembly 70/186 of December 22, 2015 «Protection of Consumer Interests»], available at: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/13/PDF/N1544913.pdf?OpenElement> (accessed March 25, 2018). (in Russ.).

Starilov Yu.N. *Administrativnaya reforma: politiko-pravovye osobennosti i pervye itogi* [Administrative reform: political and legal features and first results], *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universita. Seriya. Gumanitarnye nauki*, 2004, no. 1, pp. 3–31. (in Russ.).

Tikhomirov Yu.A. *Pravo: prognozy i riski: monografiya* [Law: forecasts and risks: monograph], Moscow, In-t zakonodatel'stva i sravn. pravovedeniya pri Pravitel'stve Ros. Federatsii, INFRA-M, 2015, 240 p. (in Russ.).

Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13 iyunya 1996 goda № 63-FZ (red. ot 29.07.2017) [The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996, No. 63-FZ (as amended on July 29, 2017)], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 1996, no. 25, art. 2954. (in Russ.).

Zakon Rossiyskoy Federatsii ot 7 fevralya 1992 goda № 2300-1 «O zashchite prav potrebiteley» [Law of the Russian Federation of February 7, 1992 No. 2300-1 «On the Protection of Consumer Rights»], *Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, 1996, no. 3, art. 140. (in Russ.).

Zashchita prav potrebiteley v Rossiyskoy Federatsii v 2012 godu : gos. dokl. [Protection of consumer rights in the Russian Federation in 2012: State report], Moscow, Federal'naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka, 2013, 156 p. (in Russ.).

Zashchita prav potrebiteley v Rossiyskoy Federatsii v 2014 godu : gos. dokl. [Protection of consumer rights in the Russian Federation in 2014: State report], Moscow, Federal'naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka, 2015, 308 p. (in Russ.).

Zashchita prav potrebiteley v Rossiyskoy Federatsii v 2016 godu : gos. dokl. [Protection of consumer rights in the Russian Federation in 2016: State report], Moscow, Federal'naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka, 2017, 283 p. (in Russ.).

Zelenov M.F., Kirin A.V., Krylova E.G., Pobezhimova N.I., Tataryan V.G., Yusupov V.A. *Administrativno-pravovoe regulirovanie gosudarstvennykh reform v Rossiyskoy Federatsii* [Administrative and legal regulation of state reforms in the Russian Federation], Moscow, RANKhiGS, 2015, 48 p. (in Russ.).

Требования к авторам

1. Автор отправляет на редакционную почту admin@instlaw.uran.ru рукопись статьи в электронном варианте в формате .doc.

2. Статьи должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право. Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи представляются на русском языке.

3. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не принимаются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

4. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование: имена автора и рецензентов не раскрываются друг другу. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии и международного редакционного совета, так и внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Срок рассмотрения статей – не более 2-х месяцев с момента поступления рукописи в редакцию.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена автору на доработку или отклонена. В случае принятия к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплектует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

7. Рекомендуемый объем статьи – 30–60 тысяч знаков (с пробелами). Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. При использовании в тексте кавычек применяют типографский вариант («»). Тире обозначается символом «–» (среднее тире); дефис «-».

8. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

9. Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, занимаемая

должность, место работы, электронная почта. В левом верхнем углу указывается код УДК.

После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее гипотезу, основные положения и выводы. Объем аннотации не менее 2000 знаков с пробелами. После аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–10).

10. Внутритекстовые ссылки оформляются в круглых скобках, в которых указываются фамилия (фамилии) автора или составителя (главного или ответственного редактора), или основное заглавие (если авторство нельзя установить), далее через пробел указывается год издания, затем через двоеточие – страницы цитаты, либо статьи правового акта, на который ссылается автор. Например: (Булгаков 1994: 203-204).

11. Библиографический список представлен двумя блоками – Списком литературы и References.

В Списке литературы указываются научные источники, первоначально авторские работы на русском языке в алфавитном порядке, затем источники на иностранных языках. При наличии нескольких источников одного автора, вышедших в одном календарном году, данная группа записей располагается по алфавиту заглавий, а к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c, d, что отражается и во внутритекстовых ссылках.

References – список литературы, где источники на кириллице даны в транслитерации и в переводе на английский язык (фамилия автора, название журнала, сборника – в транслитерации; заглавие монографии или статьи, место издания – в переводе), английские источники приводятся без изменений. Источники на иных языках также даются в переводе на английский язык. Весь массив записей располагается в алфавитном порядке.

При ссылке на книги указывается количество страниц в книге. При ссылке на статью указывается диапазон страниц (например: С. 13-29).

12. К статье должны быть приложены переводы на английский язык: имени и фамилии автора; должности и места работы; контактной информации; названия статьи; аннотации и ключевых слов.

13. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары авторам не выплачиваются.

14. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к авторам и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

Manuscript conditions

1. Manuscript in doc. format should be sent to the editorial board's email admin@instlaw.uran.ru.

2. Manuscript submitted to the Journal should relate to Journal's subject areas, which include philosophy, political science and law.

3. Previously published papers are unacceptable.

Manuscripts should be submitted in Russian only.

4. If the paper doesn't comply with the subject-matter of the Journal or formal requirements it excludes from further consideration, the author is notified about it.

5. Every manuscript submitted to the Journal is a subject for double-blind review, which means that the identities of reviewers are concealed from the author, and vice versa. Reviewers are experts in the same subject area as the paper submitted. The paper is assigned for reviewing to experts, who are members of the editorial board or the international editorial council, as well as to independent experts. If the first reviewer accepts the paper, while the second reviewer rejects it, the paper will be passed for evaluation to the third reviewer or the decision on acceptance or rejection will be made by the editorial board itself. The procedure for review and approval of papers takes no more than two months.

After reviewing the article may be accepted for publication, sent to the author for revision or rejected. If accepted for publication the paper is placed in the portfolio of editorial board for further publication.

6. The editorial board retains reviews during 5 years. If needed, the editorial board sends reviews or notes of reasoned refusal to the authors. If requested, the editorial board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation.

7. The Journal normally publishes papers between 30000 and 60000 characters in length (with spaces). The texts should be typed using Times New Roman, font size 14, 1.5 spaced, justified alignment, 1 cm. paragraph indentation, 3 cm. left margin, 1,5 cm. right margin, 2 cm. top and foot margins. French quotation marks «», dash «-», hyphen « - » should be used in the text.

8. Illustrations, diagrams and tables should be numbered and named. Illustrations, diagrams and tables should be both placed within the text of the manuscript and provided in a separate file.

9. Titles of papers should be centered, capitalized, semi-bold and typed using Times New Roman, font size 14. The author's personal data (full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail) should be placed in the top-right corner above the title of the manuscript. UDC, if possible, should be placed in the top-left corner of the manuscript.

The abstract should be placed below the paper's title and be no less than 2 000 characters (with spaces). It should summarize the hypothesis and key results presented in the paper. From 5 to 10 keywords are also required.

10. References should be placed within the text in round brackets (). In-text references should include the author's last name or the editor's last name, or the title of the source (for sources with no author named), as well as the year of publication and page reference (or article of the normative legal act). Example: (Jameson 2009: 167).

11. After-text bibliography includes the List of sources and References.

The List of sources should be composed alphabetically. It should be organized in the following order: sources in Russian (books and articles); sources in foreign languages (books and articles). If there are two or more sources by the same author in the same year, lower-case letters (a, b, c, d) with the year should be used. The lower-case letters with the year should be added to the in-text references as well.

References is the List of sources which should be transliterated and translated into English (author's last name, title of the journal or collection should be transliterated; title of the monograph or article, and the place of publication should be translated into English). Titles in other languages should be translated into English as well. List of References should be alphabetized.

Description of books and articles listed in after-text bibliography should contain number of pages, while description of articles should contain page ranges. Example: P. 13-29.

12. The author should also submit a separate file containing the following information in English: full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail, as well as title of the paper, abstract and keywords.

13. Publication of accepted papers is free of charge. Honorarium is not paid to the author.

14. In addition to the manuscript, the author provides written consent to display published paper in the electronic databases, as well as written consent to make public his/her personal data.

More detailed information for authors as well as samples of papers, abstracts et al. are provided at the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 18

Выпуск 2

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института философии и права
Уральского отделения РАН*

Ответственные за выпуск
В.С. Мартьянов, В.В. Эмих

Редактор *Н.М. Юркова*
Корректоры *А.И. Никонова, Е.М. Олову*
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовский*
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РА4»*

Подписано в печать 21.05.2018 г. Формат 70x100/16
Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 7,7 Уч.-изд. л. 7,0
Тираж 500 экз. Заказ №

Институт философии и права УрО РАН.
620990. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134